

ВИТАУТАС МОНТВИЛА

ЖВОЧИ
БЕЗ НОЧЛЕГА



СТИХОТВОРЕНИЯ

Перевод с литовского Льва Озерова



Москва, «Художественная литература», 1982

Скан
Ewgeni23

С (Лит) 2
М77

Вступительная статья
ЛЬВА ОЗЕРОВА

Художник
М. ШЕВЦОВ

© Вступительная статья, оформление,
состав, перевод, отмеченный в со-
держании*.

Издательство «Художественная ли-
тература», 1982 г.

М $\frac{4702360200-030}{0\ 28(01)-82}$ 91-82

ВИТАУТАС МОНТВИЛА, ЕГО ЖИЗНЬ И ПОЭЗИЯ

«Ночи без ночлега» («Нактис бе наквинес») — так называется книга стихов Витаутаса Монтивилы, вышедшая в 1933 году. Название книги осталось в памяти поколений литовцев, как символ его бедственных, стремительных, ярких тридцати девяти лет.

Книга «Ночи без ночлега», вобравшая в себя небольшую часть из написанного поэтом примерно за полтора десятилетия, характеризует не только лишь один из периодов его развития. Ночи без ночлега, избавленные от кавычек, уже не как название книги, а как определение жизни и поэтического творчества, весьма точно говорят об этом человеке и творце.

Бездомный, голодный, мечтательный, решительный, нежный, суровый, он был готов к любым испытаниям. Мятежный и сосредоточенный

борец-антифашист с гневной складкой на лбу, с глазами, полными душевного огня,— таков Витаутас Монтвила.

Его жизнь и творчество представляют большой интерес и заслуживают пристального читательского внимания.

1

Витаутас Монтвила родился 11 февраля 1902 года в Чикаго в семье рабочего-литейщика, бежавшего в свое время в Америку, чтобы спастись от безработицы и нищеты. Но, уехав от нищеты литовской, семья Монтвилы узнала нищету американскую. За несколько лет до первой мировой войны (в 1906 году) мать будущего поэта Барбора Монтвилене с четырьмя детьми вернулась в Литву. Семья жила в крайней нужде в Дегучай — пригороде Мариамполя (ныне г. Капсукас).

Детство было бедственным. В 1912—1913 годах Витаутас посещал школу, которую ему не удалось окончить. Учение пришлось бросить —

надо было помогать матери прокормить семью. Витаутас был пастухом, пас чужую скотину в окрестностях Мариамполя, а его мать Барбора Монтовилене стирала белье у людей. Тяжелые условия жизни омрачили детство поэта и, на всю жизнь запечатлевшись в памяти, многое определили в характере Монтвила. Мать поэта была человеком очень впечатлительным, склонным к размышлениям и меланхолии, отец его Микос (Миколас) Монвила был умным и начитанным рабочим.

Будущий поэт много мечтал об учении, образовании, культуре. Исполдволь он готовился в Мариампольскую учительскую семинарию. Эта семинария, как известно, дала немало видных деятелей литовской литературы. Монвила поступил в эту семинарию в 1924 году.

В мариапольскую пору жизни Витаутас Монвила много читал (произведения Горького, Гюго, Лондона, Маяковского). По свидетельству друзей поэта, Монвила познакомился с творчеством Маяковского и читал его на русском языке уже примерно в 1924—1925 годах. «Левый марш» Маяковского в 1924 году был переведен на литовский язык соучеником Монвилы Казисом

Борутой, в дальнейшем известным литовским писателем.

В начале-середине 20-х годов Витаутас Монтовила посылает свои первые стихотворные опыты в легальную коммунистическую печать. В 1924 году за участие в первомайской демонстрации он был арестован и заключен в тюрьму. Рано узнал Витаутас Монтовила ужасы фашистских застенков. Мы не знаем подробностей заключения поэта, но он оставил нам небольшую по размеру поэму «Средневековые оркестры», в которой многое сказано именно об этой поре.

После выхода из тюрьмы Монтовила едет в Кедайняй, в учительскую семинарию. Здесь он проучился год, после чего возвращается в Мариампольскую семинарию, которую и заканчивает в 1928 году.

В 1929 году Витаутаса Монтовилу, обвиненного в покушении на премьера Вольдемараса, снова арестовывают. К тому времени он определился как ярый антифашист. «Кто хочет бороться с фашизмом, должен идти к коммунистам», — говорил он одному из своих друзей. После двухлетнего заключения некоторое время

Монтвила учился в Каунасском университете. Деньги на пропитание он зарабатывал тяжелым физическим трудом.

Нехватка средств вынуждает Монтвилу прервать учение в университете. Он был беден настолько, что писал на оборотной стороне стеклогравированного учебника физики.

Люди, близко знавшие поэта, говорят, что он жил без быта. Когда он женился, то был так беден, что пришедших его поздравить гостей не на что было усадить.

Тысячи.

Тысячи.

Тысячи.

Я с презрением плюю на вас.

Он при этом был горд и независим. Люди влеклись к нему потому, что это был человек идеи, напряженной духовной жизни.

Бедствуя, Монтвила часто менял профессии: дорожный рабочий, наборщик в Тельшае, продавец в книжном магазине, секретарь союза шоферов. Вместе с поэтом Бутку Юзе Монтвила ходил по Жемайтии, воспетой им в стихах.

• Много сил и времени Витаутас Монтвила от-

дает переводам. Он переводит на литовский язык произведения Горького, Маяковского, Перл Бак.

Перевод для него — такое же активное действие, как создание оригинальных стихов и поэм. Почему он обращается к Горькому? В 1934 году Витаутас Монтвила переводит на литовский язык роман «Мать», ставший настольной книгой пролетариев мира. Перевод этот был весьма важен для развивавшейся в Литве антифашистской демократической литературы. Несомненно, что работа над переводом романа Горького была для Монтвилы университетом нового реализма. Это можно увидеть по образам труженников, которые проходят в стихах и поэмах Монтвилы 30-х годов.

Почему он с большим подъемом переводит Маяковского? Автор поэмы «Хорошо!» помогает ему создавать новую литовскую поэзию.

Почему он переводит публицистические произведения? Они быют по черносотенцам, которых ненавидит и переводчик.

Поэту так и не удается отдать все силы оригинальному творчеству. Осуществление замыслов откладывается — лучшие годы уходят на борьбу с нуждой.

В начале своего творческого пути Витаутас Монтвила произносит слова, которые характеризуют его как гражданина и художника: «будем бороться!», «светлый день придет!». Он придет даже в том случае, если на пути к счастью надо будет перенести неисчислимые страдания. Поэт видит цель великой борьбы. Но каков путь этой борьбы? Жизнь поэта была честным и смелым поиском пути борьбы за победу трудового народа.

Плыть к солнцу! Сейчас этот образ может восприниматься как такая расплывчатость, беспредметность, неконкретность ощущения мира. Но в ту пору, когда Витаутас Монтвила говорил это (1923), пловец, взявший курс на солнце да к тому же призывавший: будем бороться! — мог рассчитывать на явные симпатии литовских трудящихся и... на особое внимание полиции.

Свет и тьма, ворота рая, молитва, воскресение, храм молнии и грома, трубный глас, тоска по солнцу и другие образы раннего Монтвилы не были только лишь образными абстракциями бурной поэтической молодости.

Порыв бунтаря, еще не ставшего сознательным борцом, еще не закаленного, но душевно готового совершить доблестное, диктует Монтвиле, как это было и с юным Маяковским, библейские образы. Они были в поэтическом обиходе, они были понятны. А кроме всего прочего, библейские образы помогали поэту скрывать от цензуры свои подлинные думы и чаяния. Надо было изодраться, чтобы обмануть цензуру. Стихотворение «Ты» (начало 30-х годов) написано так, что может быть обращено и к любимой женщине, и к Литве. В одном из вариантов оно так и названо: «Литве». Любовь и свобода звучат как синонимы.

В условиях полицейской цензуры и преследований приходилось применять эзопов язык. Разве не ясно, что стихотворение «Тоска по солнцу» (1924) — это далеко не пейзажные стихи, что солнце здесь олицетворяет свободу. Разве не понятно, что в стихотворении «Сын» (1925) слова «лучшего бога сумел полюбить он» ничего общего с религией не имеют, что они говорят о решении молодого человека отдать жизнь правому делу.

Если Витаутас Монтвила, не жалея темных красок, изображал реальность во всей ее тягостной приземленности, то идеалы он рисует как нечто неземное, надзвездное, по крайней мере это проступает в самых ранних стихах поэта. Любимой он говорит: «Приди, мы вместе построим храм свободы, и все страдающие будут с нами». Если такого рода образы на первых порах неподвижны и суммарны, то рядом с ними возникают образы дороги, путника, летящих поездов. Вместо покоя — движение.

Поэтика борца и деятеля не могла долго оставаться окаменелой и пассивной. «Время клокочет», — понимал Монтвила. Распростертые крылья жизни дали поэту возможность покрывать большие расстояния, видеть землю с высоты полета. Какова же цель полета? Ответы Монтвилы лаконичны. Светить! Расчистить путь к звездам! Испепелить тиранов мира!.. Так постепенно — еще без должной конкретности, но явственно — утверждается за поэтом право и стремление «светить и никаких гвоздей», как говорил Владимир Маяковский. Витаутас Монтвила в 1923 году, описывая ночной полет, заявляет: «Летя, лучи

я сыплю на простор». Это творческое кредо. Подобно своему русскому собрату, Монтовила за просто разговаривает с небом, звездами, солнцем. Все — крупно. Все — взыскательно. Максимализм борца проступает все резче и прямой.

Туманности и расплывчатости начального периода развития Витаутаса Монтовилы не всегда можно объяснить намерением зашифровывать свои думы и чаяния. Нет, порой это юношеская неопытность и небрежность. Подчас это невольные заимствования у поэтов-символистов. Он хорошо знал его бардов: Белого и Бальмонта, Брюсова и Балтрушайтиса, знал литовских символистов, знал и западноевропейских. Но в то же время в начальную пору у Витаутаса Монтовилы заметна тяга к динамичному, порывистому, ударному стиху, передающему не состояние меланхолии и созерцания, а волю к действию, напряжение, поиск.

На изображение окружающей жизни поэт не жалеет сумрачных красок. Наиболее частые — тьма и тюрьма, фонари, погашенные руками мрака, ночь. Это не краски, а состояния. Достигшее

предела человеческое терпение не может не прорваться восклицанием: довольно!

В ранней песне Витаутаса Монтовилы отчетлив мотив: для того, чтобы свобода пришла, надо ее разбудить. Так возникает у поэта образ молота и топора.

Резкий ветер революционной поэзии, одним из творцов которой стал Витаутас Монтовила, был так нужен людям. Им нужна была поэзия надежды, веры в победу, поэзия доблести и терпения, полноты чувств и мужества. Поэзия Витаутаса Монтовилы шла навстречу этой живущей в сердцах литовских трудящихся любви к свободе, к революционному слову. Вот почему творчество Витаутаса Монтовилы должно рассматривать как продолжение дела, которое до него вели прозаик Билюнас, поэты Янонис и Регатис.

Он кровно связан с традициями русской и западноевропейской революционной поэзии. Его сильное порывистое движение не уместится в традиционную строку. В Маяковском он видит учителя и друга. Черты общности в стихе — это следствие общности характеров, дела, цели.

«Мы — новые люди, для которых сказать и написать означает то же, что и сделать», — говорил Монтвила.

Роль Янониса в творческом развитии Монтвилы еще недооценена. По существу, Монтвила продолжал дело Янониса в новых исторических условиях.

Революционный порыв масс, их стремление к свободе изображались Монтвиллой сперва как борьба света и тени, но вместе с тем в «Майском празднике» очень прямо и без аллегорий черным по белому написано:

Рабочие
поля,
и цеха,
и шахт,
в страну свободы
чеканьте шаг!

Стихотворение кончается органически входящими в текст двумя строками из «Интернационала»: «Это есть наш последний и решительный бой».

В стихотворении «Перед рассветом» Монтвила бросает крылатый вызов: «Пора орлами с^ать, с орлами ввысь лететь!» Эти по существу свое-

му горьковские мотивы будут с годами звучать все смелее, все определеннее и конкретнее. Здесь орлы у Монтвилы олицетворяют то же, что соколы и буревестники у Горького. Дело не в изображаемых птицах, а в том, что скрыто за их именами. Приближение бури. Жажда свободы.

В 1926 году Монтвила пишет и позднее перерабатывает поэму «Средневековые оркестры». Примечание автора: «Из эпохи господства католиков в Литве». Впервые поэма эта была напечатана в рабочем журнале «Мусу скардас» («Наш отзвук»). Звук и отзвук «Средневековых оркестров» был огромен. Есть черты поэтической общности, роднящие эту вещь с «Двенадцатью» Блока. Два мира обнажены в поэме: эксплуататоры со сворой прислужников и эксплуатируемые со своими бедами. Два мира, и они — непримиримы. О врагах поэт говорит кратко и метко:

В темном карцере бога запрут самого,
если красным окажется сердце его.

Обитатели предместья — рабочие и их семьи — вышли на улицу. Они восстали.

— Холод и голод
не будем терпеть...
— Довольно!.. —
восставшие начали петь.

Так возглас «довольно!», прозвучавший ранее в лирике Витаутаса Монтвилы, перешел из уст поэта в уста восставших рабочих — героев его стихов и поэм. Сперва это масса восставших («отряды голодных», у которых «стиснуты грозные кулаки»), но затем с течением времени появляются образы отдельных борцов («Верпулся», «Погибшему товарищу», 1926; «Присяга рабочего», «В тюрьме», «Товарищу по борьбе», 1931, и другие).

В стихах поэта середины 20-х годов получает развитие тема пресмысленности революционного дела. Естественно, что эта тема не существует отдельно и изолированно от других. Ее надо искать в живой творческой связи с другими темами поэта:

Упал боец... Товарищи, не плакать. .
На той крови созреют тысячи — тогда

убийцы друга нашего дождутся
сурового суда.

Стихотворение «Погибшему товарищу» написано в период, когда ушедшая в глубокое подполье Коммунистическая партия Литвы несла большие потери. Жестоки были репрессии литовских буржуазных властей, направленные на удушение революционной борьбы.

Развивая тему подвига, жизни, отданной борьбе, Монтвила писал о погибшем друге:

Из рук твоих беру я знамя
и поднимаю ввысь его.

(«Товарищу по борьбе», 1939)

И в дальнейшем, до последних дней поэта, тема преемственности революционного дела будет звучать со все нарастающей силой («Товарищу Янонису», 1940; «Первое мая», «Песня революции», 1941).

Естественно, что Монтвилу-лирика интересовало сочетание личного и общественного, любви и борьбы, чувства и долга. В досоветскую пору у поэта было возвышенное, но ошибочное понимание долга. Поэт полагал, что борец за народ-

ное благо должен отречься от всего личного. Так, в стихотворении «Воспоминание» (1927) Монтвила писал:

Мой мир широк, просторны мысли,
и сердце вольно и сурово.
А ты... ты привязать хотела
к себе свободного такого.

Следовательно, думал поэт: отрехшись от любви, ты выполнишь долг. В «Последних словах» (1933) об этом заявлено с большой решительностью:

Жизнь что сталь.
Стану подобьем металла,
чтоб никакая любовь
бороться мне не мешала.

Лишь позднее поэт, закаленный тюрьмами, с высот жизненного опыта найдет не умозрительное, а органическое душевное сочетание любви и долга. В концовке стихотворения «Приди!» возникает образ дороги, по которой идет путник-борец. Но он уже не один. С ним рядом — любимая, подруга по жизненной борьбе. «Длинна дорога от потемок к свету; с тобою мы, борясь, пойдем по ней».

Испытанный в борьбе человек чувствует нежность с особой остротой. И он уже не только не стесняет себя в проявлении чувств, но, напротив, настаивает на них:

На свете много бед. Бороться трудно.
Дорога к счастью — это тоже бой.
Пускай цветок тебе напомнит, друг мой,
о том, что неразлучны мы с тобой.

Это из «Подарка», написанного в 1939 году. Так, начав с лирики, Витаутас Монтвила позднее вернулся к ней, но с новым жизненным и душевным опытом и с новыми эстетическими предпосылками.

4

Лирика Витаутаса Монтвилы была кровно связана с жизнью и зачастую исподволь перерастала в эпос. В ней эпические мотивы как бы проходили свою первичную обработку. Неприметны границы перехода лирики Монтвилы в эпос. Лирико-эпический жанр у Монтвилы распространен, как и у Маяковского. Некоторые стихи свои поэт называл поэмами. Но дело здесь

не в величине и количестве строк, а в масштабности чувств, значительности содержания и жизненного материала, трагедийной напряженности сюжета. К таким поэмам, или маленьким стихотворным трагедиям, помимо уже упомянутых «Средневековых оркестров», должны быть причислены «Смерть на кресте», «На бирже труда», «Поэма о мостильщике», «Подайте на пропитанье» и некоторые другие. Это поэтические картины Литвы 20—30-х годов нашего века.

В стихах и поэмах Витаутаса Монтвилы проходит целая галерея образов литовских женщин. Это Дарулене и Аня, это продавщица из магазина Пинигене и безымянная полевая лилия. Это образы женской чистоты, на которую посягает буржуа. Свое теплое и честное отношение к женщине Монтвила передает в лирических миниатюрах.

Слепой и безногий солдат, бывший мостильщик улиц,— герой одной из поэм. Он был на войне, и он прозрел. Прозрел не только он, но и его мать.

В поэмах Монтвилы портреты тружеников соседствуют с гротескными изображениями бур-

жуа, картины нужды сочетаются с протестом против эксплуатации. Этот протест возникает как продолжение картины.

Винцас Грабинас, как и целая галерея других образов, дан поэтом в сатирическом заострении. Да и самые имена осмеиваемых — Грабинас и Пинигене, образованные от слов «гроб» и «деньги», это не то же ли, что Скотинины у Фонвизина и Оптимистенко у Маяковского.

Поэмы Витаутаса Монтвилы, помимо их художественной ценности, обладают еще другим качеством: они — документы эпохи, живая память прошлого, запечатленного в образах и оставленного в назидание грядущим поколениям, к их сведению. Такие вещи, как «Кузьма-безбожник», «Винцас Дарулис», «Продавщица в магазине Пинигене», «На бирже труда», — поэтические жизнеописания людей социального дна, сделанные поэтом обездоленных.

В образе Винцаса Дарулиса, жившего в лачуге на краю предместья, Дарулиса, служившего у господ ассенизатором, и в образе поломойки Дарулене, голодной и забитой женщины, даны портреты пролетариев Литвы. Это повествование

о нищей литовской семье. Поэт на своих страницах заставил заговорить батрака, мостильщика, близкого к народу интеллигента. Да и сам он в своей лирике был их глашатаем и защитником. Многие в его стихах было автобиографическим.

Поэзия Витаутаса Монтвилы полна сочувствия к угнетенным, и это сочувствие, как тепло и свет, содержится во всей образной ткани повествования. В одной из поэм этот голос явного пристрастия получает полную свободу. Он звучит полногласно и громко, как труба. Речь идет о поэме (так называет ее автор) «На широкую землю» (1932) — одном из самых зрелых в идейном отношении произведений Витаутаса Монтвилы досоветского периода. «Кто трудится — тому земля!» — вот девиз Монтвилы.

Бунтарский порыв первых лет творчества ныне становится сознательной деятельностью, смелость юноши — цельностью зрелой натуры, сосредоточенность на своем душевном мире — собранностью. С годами закаляются в поэте те качества, которые так пригодятся ему и всей литовской поэзии в советскую пору. Для того, чтобы

перейти к ней, остается еще сказать о некоторых мотивах, образах, темах поэта в его произведениях досюветского периода.

В лирике Витаутаса Монтвилы в годы, предшествовавшие историческому 1940 году, есть мотив, очень важный для понимания зрелости идейно-художественного мышления поэта. Трудовой человек угнетен и закабален при капитализме, но все же он один по-настоящему способен понять и оценить красоту мира. Он не бедный родственник за столом природы. Он хранитель, разведчик и знаток ее тайн, их первооткрыватель и повелитель. Человек труда у зрелого Монтвилы — это землепроходец, а не турист. Тонкость в этом человеке сочетается с цельностью. В стихах 1934 года читаем:

Огромны поля Жемайтии,
не мои это земли, знаю.
Но полной грудью дышу,
хоть часто без хлеба бываю.

И образ Литвы-отчины сочетается у поэта с образом ее природы, а последний — с образами людей труда («Моя отчизна», 1938).

Витаутас Монтвила принадлежит к числу поэтов, для которых победа советской власти в Литве была давно ожидаемой и желанной. Он мог вслед за Маяковским повторить: «Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня... не было».

Это была новая весна в жизни и творчестве литовского поэта. Витаутас Монтвила переживал свое второе рождение. Перемена, происшедшая в душе его летом 1940 года, выразилась во всем: Монтвила стал разговорчивей, страстно жаждал деятельности. Он занимается поэтической молодежью, среди этих его молодых друзей такие люди, как Э. Межелайтис и В. Мозурюнас. Он часто выступает на митингах на заводе «Инкарас» («Якорь»), в зале дворца профсоюзов, у студентов. Вот он смело направляется к трибуне. Видит перед собой народ и широко, открыто улыбается, душевно радуясь новой встрече с ним. Потом начинает читать — громко, четко, энер-

гично. И стих звучит как подтверждение радости этой встречи.

«За эти девять месяцев я написал больше, чем за всю свою жизнь». Сказанные Витаутасом Монтвиллой слова эти знаменательны для творческого самочувствия поэта в советскую пору его развития. В этих словах большая перспектива. Начатые поэтом стихотворные циклы, образы, намеченные им,—все это говорит о том, как много он мог бы еще сделать. Никто не славил советскую власть в Литве с такой открытостью, с такой радостью, доходящей до ликующего звона! Вот почему у Монтвиллы есть друзья и есть враги. Равнодушных нет. Гигантский рывок поэта к новому качеству, рывок, совершившийся всего девять месяцев, не был завершен. Благодаря творческому поиску Монтвиллы современная поэзия Литвы сравнительно быстро преодолела риторичность и декларативность. Порой у нас полагают, что риторика появляется тогда, когда поэт пишет на общие темы. Это глубоко неверно. Можно на общие темы писать очень горячо, от всего сердца, прочувствованно и

на мелкие темы писать обобщенно. Риторика появляется там, где нет своего личного отношения к описываемому явлению. Стих его проверен и оправдан его жизнью.

Он читал свои стихи громкогласно и вдохновенно. С особым удовольствием читал в больших аудиториях — рабочих, студенческих, крестьянских. Встретив в издательстве Р. Шармйтиса — товарища, коммуниста, с которым в 1930 году находился в тюрьме, — поэт говорит: «Я целиком и полностью ваш!» Монтвила чувствовал, что пришел его день. «Поэзия — вот моя должность, вот моя работа». — говорил он.

В советскую пору у него появилось чувство хозяина земли, раскованность, свобода. День настал, надо засучить рукава и работать — открыто и честно — для народа. Путь поэта с 1923 по 1940 год был путем поэта-борца, который в новых условиях победы Советов в Литве становится активным деятелем народного государства. Витаутас Монтвила своей поэзией выстрадал право встать в первый ряд литовских советских поэтов.

Его «Свободная песня» (1940) — это вздох

облегчения, вырвавшийся из груди бойца, знавшего гнет и тюрьмы, преследования и унижение:

Пришли навеки — в добрый час —
твоя, свобода, сроки.
Ты глубоко в сердцах у нас,
мы все — в твоём потоке.

Не удивительно, что поначалу песни свободы и мирного труда облакаются Витаутасом Монтвилой в форму лозунгов и речей, приветствий и публицистических выступлений, что вовсе не является специфичным только для этого поэта.

Напротив, опыт поэзии народов СССР показывает, что начальный период их развития связан с обнажением публицистических приемов письма, порой с дидактикой и риторикой. Утверждение нового, как показывает история литературы, вначале требует страстного и прямого заступничества и недвусмысленного голосования «за» и «против». Потом появятся добротные реалистические полотна, потом будут и жанровые картины, и психологические портреты. Но в начале было слово бойца и трибуна, слово пристрастное и прямое.

Позднее будет описан восход солнца над Нямунасом и дан сатирический портрет душою

погрязшего в прошлом поджарого молодчика
Винцаса Грабинаса. Но вначале —

На стягах напишем мы
славу побед,
счастье
работой добудем!

Читателю, любящему реалистическую достоверность, порой кажется, что стихи Витаутаса Монтвилы периода становления советской власти чересчур тенденциозны и общи. Но явление литературы нельзя рассматривать изолированно от исторических условий, породивших его. Можно ли понять что-либо в работе Маяковского, Сельвинского, Асеева, Янки Купалы, Тычины, Галактиона Табидзе, Акопяна, Хамзы и некоторых других поэтов первых послереволюционных лет, если отвлечься от реальных исторических условий, в которых эта работа протекала?

Постепенно тематические и образные рамки поэзии Витаутаса Монтвилы раздвигались. Творческий диапазон расширялся. Кроме лозунга и оды, появляются сатира и песня. Тенденция с поверхности уходила глубоко в ткань стихотворения или поэмы. Произведения наполнялись реалиями. Каждый цветок и лист в «Венке Со-

ветской Литве» (так названа последняя книга стихов Витаутаса Монтвилы) светится новой действительностью. По-новому поэт осознает время. Для него «одна советская секунда дороже... всех долгих лет насилья». Он рад, что на улицах новые университеты; муза радушно встречена на заводах и в мастерских — рабочие поэты пишут стихи; хлеб идет не дармоеду и спекулянту, а народу. Поэта радуют красные обозы со знаменами, едущие на сыпные пункты республики.

Два стихотворения (1941) Витаутас Монтвила посвящает Ленину. Оба стихотворения стали широко известны в Литве и далеко за ее пределами. «Иные гении приходят и уходят, но гений Ленина — на все века». Верностью Ленину он называет стремление бороться, строить, побеждать. Характерно, что второе из названных двух стихотворений озаглавлено «Дайна о Ленине» и выдержано в духе народных песен с их параллелизмом в описаниях природы и явлений человеческой жизни:

Не ива качается,
грустная ива,

деть в баре в кругу своих собутыльников. Когда был изгнан Сметона, литовские трудящиеся ликовали, а Грабинас пересидел сотворение нового мира в баре. Порой появлялось в нем желание начать новую жизнь, но к прошлому он «так присосался душою», что трудно было рвануться вперед. Время и новая жизнь не ждут — кто не с ними, тот против них. Грабинасы попадают на мусорную свалку истории.

Обыватели всех мастей и оттенков должны видеть в Монтвиле своего ярого врага, разоблачителя и отрицателя.

Так, воспев революцию и Советы, пропев славу ее бойцам, Витаутас Монтвила пропел и отходную ее врагам, явным, тайным и якобы «нейтральным». Ода и сарказм, здравица и ирония сослужили поэту хорошую службу. Вслед за Маяковским он мог бы повторить о революции и Советах:

Тебе обывательское —
о, будь ты проклята трижды! —
и мое,
поэтово,
— о, четырежды славься, благословенная!
(«Ода революции», 1918)

Советская власть в Литве была трижды проклята Грабинасами и трижды благословлена Монтвилами. В этом большая историческая правда и полная социальная ясность.

В еще большей мере, чем в досоветский период истории Литвы, Маяковский был созвучен Монтвиле в 1940—1941 годах.

С поэзией Маяковского Монтвила познакомился еще в Мариампольской семинарии. Тем удивительней кажутся его первые ранние стихи, в которых органически возникают родственные Маяковскому интонации. Они возникали как голос литовской улицы, а не как поэтическое подражание. Ю. Балтушис рассказывает, что Монтвила, прочитав Маяковского, несколько дней ходил опьяненный им. Люди, хорошо знавшие Монтвилу, всемерно подчеркивают сходство характеров и жизненного поведения обоих поэтов. Переводы из Маяковского, выполненные Монтвилей, до сих пор остаются образцовыми. Силу стиха, силу поэтического воздействия литовский поэт сравнивает с выстрелом. Одно из его стихотворений так и называется «Выстрел стихом». Этот образ, перекликающийся с образом Влади-

мира Маяковского («Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо»), возник у Витаутаса Монтвилы не случайно, не произвольно. Этот образ страдан поэтом, который долгими годами своего поэтического горения и борьбы получил право сравнивать воздействие своего слова с силой выстрела. «Пожар сердца» — образ равно близкий и Маяковскому и Монтвиле.

Были исследователи литературы, которые в раннем творчестве Владимира Маяковского видели только «мозаику самоценных образов». Они не понимали, что поэт искал речи «точной и нагой», искал новые изобразительные средства, способные выразить жизнь пролетария, человека труда. И у Витаутаса Монтвилы образы всегда были добрыми товарищами и помощниками идей, несли в стихе свою боевую осмысленную службу. Стоит вспомнить образ в поэме «Подайте на пропитанье»:

О Иисусе,
перед праздничным часом
епископ в такси примчался.

Это наблюдение, ставшее поэзией широкого обобщения и заострения. Невозможно опреде-

лить, где здесь кончается наблюдение и начинается гротеск. Реалистически заостренный образ стал одним из завоеваний новой революционной эстетики. У Владимира Маяковского в «Войне и мире»; «В гниющем вагоне на сорок человек — четыре ноги». У Витаутаса Монтвила в «Богом покинутой овечке»:

Божьи глаза
от вина
овальные
и от золота
словно зеркальны.

В цикле «На жемайтйской земле»: «Оккупированные богом звездные небеса».

Судя по рукописям, Монтвила из тонн словесной руды добывал единый грамм поэтического радия. Замысел не укладывался в заранее приготовленное ложе канонического стиха с заведомо распределенной строфикой и ритмом. И строфика, и ритм, и интонации были производными, вторичными от главного — поэтического высказывания, необходимости донести до читателя переживание, вызвать в нем ответное. Отсюда не рабское копирование приемов великих

поэтов, а создание новых, рожденных временем. Монтовила любил свободный переход от силлабо-тоники к тонике, от рифмы к белому стиху, от строфы к живому разговорному ритмико-синтаксическому периоду. При всем том в зрелую пору у поэта не было неприязни к каноническому стиху.

6

Прежде проводили резкий водораздел между стихами Витаутаса Монтовилы досоветского и советского периода. Конечно, это был революционный скачок. Песня о свободе, как о непосредственной и радостной реальности, сильно отличается от песни о свободе, как о чаемом и грядущем. Иная тональность, иные образы, иные ритмы и интонации. Но важно понять, что Витаутас Монтовила был не стихотворцем, а поэтом, то есть художником, у которого через всю жизнь органически проходили любимые темы и образы. И в советскую пору поэт остался верен тем своим темам, которые он с успехом разрабатывал в досоветские годы. Это относится и к те-

ме бессмертия революционного дела, и к теме любви, и к теме долга. Так, тема защиты мира является дальнейшей разработкой того, что заложено им в «Поэме о мостильщике» (1932). Так, стихотворение «Первое мая» (1941), содержащее историко-революционные воспоминания и обобщения автора, продолжает творческую линию, выраженную в стихотворении «Майский праздник» (1924), выдержанном в агитационно-призывных тонах, как подпольная листовка. Наконец, получает свое дальнейшее развитие тема бессмертия революционного дела. Она как бы тоже выходит из подполья на свободу и, начисто отказываясь от иносказаний, предпочитает прямую речь. Об этом написаны стихотворения, вошедшие в «Венок Советской Литве»: «Огни» (1940), «Товарищу Янонису» (1940), «У могилы» (1941). Речь поэта обращена к товарищам по борьбе:

Погибшие друзья!
Дорогой вашей,
дорогой ваших подвигов живых
сегодня мы уверенно шагнем
и красные знамена поднимаем
за славную Республику свободы.
В такие годы,

в такие дни
бороться будем мы, товарищи,
как вы —
недавней ночи яркие огни.

В последних стихах Витаутаса Монтвилы намечены новые образно-тематические линии, которые остались незавершенными, которые обрывались с гибелью поэта. Это наброски образов друзей и врагов. Это зерна эпоса, которые со временем дали хорошие всходы на литовской земле.

Поэзия Монтвилы оказала влияние на наших современников. Ее отголоски слышны у В. Грибаса, В. Мозурюнаса, Ю. Мацявичюса, А. Дрилинги, В. Рудокаса, А. Йонинаса и некоторых других. Несомненна глубокая творческая связь Монтвилы и Тильвятиса, написавшего большую поэму «За песню платят жизнью», посвященную подвигу литовского поэта-антифашиста.

Брат, тебе этот стих —
Дань признаний моих, —
Участь друга не будет забытой.
Может быть, для того я остался в живых,
Чтоб свидетелем стать жизни той недожитой.

Поэма Тильвитиса и стала свидетелем и поэтическим памятником недожитой жизни Монтвилы.

Историки литературы готовы оставить за Монтвилой место поэта-агитатора, поэта-трибуна, что действительно справедливо по существу. Но знакомство с наследием поэта показывает, что оно далеко не исчерпывается определениями «агитатор» и «трибун». Это — доминанта творчества, на которой привыкли ставить ударение и тем самым исчерпывать это творчество. Но оно, к счастью, шире этих определений, оно глубже. Так же, как Маяковский не исчерпывается своими стихами-лозунгами, так и Монтвила не помещается в прокрустовом ложе, заготовленном для него. Он шире определений историков литературы, он многомерней. Поглядим, как это выглядит на деле. Разумеется, для доказательства моей мысли понадобилась бы отдельная специальная статья. Но многомерность и разнохарактерность поэзии Монтвилы я покажу бегло и эмблематически на строках и строфах его.

Монтвила улыбается:

Миния. Миния. Миния.
Отдаю тебе сердце, родная.

Монтвила утешает друга:

Не плачь! Зачем, родная, загрустила?

Монтвила утешает себя:

Ах, не горюй, сердце мое!

Монтвила ликует:

Огонь, пламеней!
Отчизне моей
лететь
колесницею солнца
в лазури!

Диапазон чувствований Монтвилы велик. Он слышит тихий шепот колосьев и гром первомайской демонстрации. В зерне у него все могущество всколосившегося поля. Он посеял, но дожидаться жатвы ему не было суждено. «Как все цветет вокруг!» — воскликнул Монтвила. Поэту дано предвидеть. И он предвидел.

С установлением советской власти в Литве такой поэт, как Монтвила, мог целиком отдаться творчеству и стать профессиональным литератором. Ощущая новые, созревавшие в нем силы, перед лицом больших поэтических замыслов и планов Монтвила уверенно говорил друзьям:

— Теперь я покажу, на что способен. Есть условия для того, чтобы открыто сказать, что я думаю. Теперь нечего скрывать!

В 1941 году Витаутас Монтвила собирал материалы для пьесы о четырех расстрелянных в 1926 году коммунистах. Он хотел писать драму в прозе. На вечере старых коммунистов Монтвила беседовал с сестрой Каролиса Пожелы, узнавал о его жизни, характере, семье, окружении. Этому замыслу Монтвилы не дано было осуществиться, равно как и другим его замыслам.

Перед расстрелом Витаутас Монтвила сказал в тюрьме товарищу-рабочему:

— Как мало мной сделано. Как мало еще удалось поработать.

Планы его были обширны, намерения велики. Но очень много осталось невоплощенным. Начаты и не завершены: шесть романов, четыре пьесы, множество рассказов, поэм, стихотворений.

Можно сожалеть, что Витаутасу Монтвиле не удалось завершить работу над поэмой «От бога отлученный настоятель», в которой дан реалистический образ коммуниста-подпольщика. Оставшиеся фрагменты при всей их незавершенности гово-

рят о том, что это повествование могло быть широким эпическим полотном эпохи, в котором осуществился бы завет Мицкявичюса-Капсукаса: «...изобразить действительность в ее революционном развитии, создать типы великой эпохи, действующие в типических обстоятельствах, соединяющие величайшую деловитость с невиданным героизмом и грандиозными перспективами».

Да, многое не завершено. Но и созданного достаточно, чтобы видеть в Монтвиле героя литовского народа, строителя и певца нового строя.

Монтвила прожил всего тридцать девять лет. На бедствия, голод, тюрьмы ушли лучшие годы.

Можно с уверенностью сказать, что только девять месяцев его жизни при советском строе были счастливой порой.

Никогда он так плодотворно не работал. Его поэзия естественно включилась в переустройство мира.

Монтвила блистательно доказал, что в национальном характере литовца есть не только раздумчивость и созерцательность, трудолюбие и дружелюбие, но и гнев, решимость, готовность к подвигу, отвага.

В первой половине июля 1941 года в подвал каунасской тюрьмы втолкнули изможденного, бледного, небритого человека. Было ясно: он жестоко избит тюремщиками. Узнать человека было невозможно. Только большие суровые глаза не оставляли места для сомнения: да, это он, Витаутас Монтвила.

Когда он немного очнулся, то стал прислушиваться к рассказам о положении на фронтах, о зверствах фашистов над евреями, над литовцами, над русскими. Сжав зубы, Монтвила слушал эти рассказы. Он был в глубоком горе. Потом Монтвила прислонился к стене, прилег и заснул тяжелым сном. Товарищи видели его лицо, иссиня-зеленое от перенесенных побоев.

Утром, сделав усилие над собой, Монтвила встал. Он беседовал с товарищами. Чувствовалось, что он взял себя в руки, напрягся, собрался. Днем играл с друзьями в шашки, слепленные из тюремного хлеба. Порой он задавал себе и

товарищам вопрос: «Что нас ждет?» И как бы в ответ на это по тюремным цементным полам стучали кованые немецкие сапоги.

Приведенный днем новый узник — рабочий Петрошунской бумажной фабрики — сообщил, что немцы уже за Смоленском и на Украине. Монтвила молчал. Из дальнейших его реплик явствовало, что он не потерял веры в победу, что мужество его не покинуло. В один из ближайших за этим дней заключенных вывели на тюремный двор. Некоторых отправили в другую тюрьму. Монтвилу в камеру больше не возвращали. Его увезли в неизвестном направлении.

В перечне заключенных он значился под восьмым номером.

Вместе с Монтвиллой сидел в тюрьме товарищ, свидетельствовавший, что однажды ночью нескольких заключенных повезли на расстрел. Но в дороге что-то стряслось, и их снова вернули в тюрьму.

В материалах каунасской тюрьмы обнаружен документ (центральный Госархив Литовской ССР, фонд 338, опись 1, личное дело 2974): «Витаутас

сын Миколаса Монтвила арестован 14 июля 1941 г. и передан гестапо 19 июля 1941 г.».

Имя поэта — в списках людей, «переданных гестапо». «Передать гестапо» — это условный знак. По этому знаку из тюрьмы человека вели на расстрел.

В Каунасе за городом есть Девятый форт. 19 июля 1941 года гестаповцы привели сюда большую группу патриотов. Имена многих из них неизвестны. Но известно, что среди них был Витаутас Монтвила. Его имя символизирует стойкость и волю павших с ним товарищей. Поэт похоронен в братской могиле.

Перед арестом, когда за ним пришли гестаповцы, Монтвила поднял маленькую дочь Саулу-те и сказал: «Я вернусь, дочурка». Он не вернулся.

Он вернулся. Вернулся в Литву, чтобы никогда больше с ней не расставаться.

Честь поэту, который вписал свое имя в историю родной литературы и прославил ее за пределами своей страны. Но еще большая честь поэту, который вписал свое имя в историю своего отечества. Монтвила является именно таким поэ-

том. История Советской Литвы хранит это славное имя.

Имя Монтвилы по праву должно быть поставлено рядом с именами его побратимов-антифашистов — Лорки и Фучика, Вапцарова и Джалиля, с именами тех, кто песней и жизнью преградил дорогу фашизму и утверждал на земле мир.

8

В связи с Монтвилой вспоминаю скромную дату моего личного приобщения к его жизни и творчеству. В 1942 году в разгар войны я получил из рук Сусанны Георгиевны Мар, составлявшей сборник поэтов Литвы, стихи Монтвилы. Она сказала, что это перевести трудно и ответственно. «Попробуйте!» Я попробовал. Сусанна Георгиевна одобрила мои переводы. В дальнейшем я вовлекся в переводы, и в этом решающую роль сыграл Ионас Шимкус. Он говорил, что нужно перевести целую книгу. Я стал вникать в оригинал. Дальше — больше. И Монтвила оказался поэтом, соединившим меня не только со своими стихами, но и со всей поэзией Литвы.

Выступая в дни войны перед солдатами и офицерами, я вместе со своими стихами читал неизменно свои переводы из Монтвилы. Я рассказывал о жизни и гибели поэта. И меня спрашивали о нем, и меня просили:

— Расскажите подробней! Прочитайте нам его стихи!

Работая над переводами, я приближался к поэту.

В Литве я прошел по его следам, вел беседы со вдовой его Констанцией Монтвилене и дочерью Сауле Монтвилайте, с Йонасом Шимкусом, Казисом Борутой, Миколайтисом-Путиным, Венцловой, Тильвитисом, Межелайтисом, Бутенасом, Грицюсом, Корсакасом, Мешлюсом и многими другими.

Названные и не названные здесь шаг за шагом открывали передо мной мир Монтвилы и обстановку, в которой он жил и творил. Это помогло мне, много раз переделывая переводы, добиваться творческой близости к оригиналу.

Я Монтвилу перевожу с литовского на русский
И сердцу трудно от такой нагрузки.
Все тюрьмы с ним, все сроки с ним,

Все думы с ним, все строки с ним,
Все ночи без ночлега — рядом, вместе,
И вместе, рядом — горечь и возмездье.
Вдвоем разламываем корку хлеба.
Решетка, за которой стынет небо,
В любое время дня и пору года
Мне видится сквозь строки перевода.
Запомни: девятнадцатого июля
Сквозь нас двоих прошла навывлет пуля,
И где чья кровь — не разобрать.
Распахнутая грудь.
Раскрытая тетрадь.

Переводя Монтвилу, я познавал его истоки.
Вместе с тем, я увидал, как принимала литовская
поэзия его наследие. Что отошло в историю, что
осталось в настоящем, что передается будущему.

Переводя Монтвилу, я не упускал из виду
Маяковского. Не упускал из виду романтические
стихи и рассказы Горького. Монтвила знал их,
любил и переводил на литовский язык. Он пере-
вел пафосные и сатирические стихи Маяковского.
Наряду с «Октябрьским маршем» — «Подлизу».
Образно-ритмический строй Маяковского мог
быть «ключом» при переводе стихов Монтвилы.
Но только этим ограничиваться нельзя было. Сле-
довало понять, что поэзия Монтвилы развивает
прогрессивную национальную традицию.

Национальные корни поэзии Монтвилы переплелись с корнями русской революционной лирики. Поэтому мне, как переводчику, предстояло это передать.

Поэта можно много раз читать и запоминать, но он никогда не будет так понятен и близок, как при переводе, когда и сильные и слабые стороны художника видишь как бы сквозь увеличительное стекло. Определяется каждая строка. Видна каждая буква.

Стремясь сохранить идейно-образные особенности поэзии Монтвилы, надо было бояться приглаживания и сглаживания его своеобразия. Его стих угловат и даже шероховат. Он шершав. Он тяжел, как молот. Это в большинстве случаев не следствие небрежности, а идейно-художественная установка поэта. Его стихи писались не для услаждения слуха гурманов и снобов, они не желали убаюкивать и опьянять. Они — оружие, — их дело защищать и нападать.

Подчас же неуклюжесть являлась результатом недоработки, спешки, у поэта не хватало времени на отделку строк и строф. Он надеялся к ним вернуться, но у него не было возможности

вернуться к ним. Жизнь уводила прочь от мастерской. Да и мастерской, кабинета у него не было. Все на ходу, все на сквозняках времени, все в дороге, а дорога была исполнена бед и треволнений.

Поэзия Витаутаса Монтвилы была для меня долговременным испытанием, предметом изучения, серьезной проблемой. Для настоящего издания я счел необходимым пересмотреть тексты переводов, исправить их, руководствуясь новыми изданиями поэта на литовском языке, прежде всего — двухтомным собранием сочинений («Raštai») в стихах и прозе, а также монографиями, статьями, исследованиями, посвященными Монтвиле. К числу важных изданий этого плана надо отнести книгу «Воспоминание о В. Монтвиле» (Atsiminimai apie V. Montvila, «Vaga», 1966).

Переводчик считает своим приятным долгом с благодарностью вспомнить наиболее пристальных читателей и критиков, товарищей, помогших ему своими советами.

Назову прежде всего К. Монтвилене, С. Монтвилайте, З. П. Кульманову, М. С. Петровых, М. А. Светлова, И. Шимкуса, Т. Тильвитиса,

Б. С. Ирнина, А. Венцлову, Э. Межелайтиса,
В. Мозурюнаса, В. Ф. Огнева, И. Качюлиса,
Б. Залесскую.

Большинство их советов и пожеланий в этом издании учтено.

Лев Озеров



СТИХОТВОРЕНИЯ



Путь-дорога

Вьется-льется тропка.
Широка-длинна.
Розы дышат робко.
Листья. Тишина.

По пути скитаний
я идти готов
на луга мечтаний,
на поляны снов.

Раздвигая горы
призрачных теней,
я пою о горе
пережитых дней.

1923

Пой!

Пой песню! И если твой пламень сердечный
гасить попытается злая судьба, —
ты пой свою песню, порыв ее вечный
ветра не задуют, она — не раба.

Пой песню. Пусть даже тебя и схватила
печаль, — так, как морось хватает листву.
Пусть даже манила б тебя и могила, —
цвети и, как роза, гляди в синеву.

Пой! Песни твоей соловьиные трели
согбенные пахари слышать должны.
Увидя, что канклями ¹ души запели,
поднимется ясное утро страны.

1923

¹ Литовский народный музыкальный инструмент.

Будем бороться!

Тому не испытать блаженства рая,
кто духом пал, кто потерял мечту.
Не для него звезда горит, сверкая
не для него стремленье в высоту.

Пусть в сердце буря вызреет; бесчестье —
часами хныкать, как дитя в ночи.
Пора ковать железное возмездье
и плыть туда, где солнце, где лучи.

И если б нам судьба определила
одних лишь вековых стонов гнет,
и если бы все радости затмила,
мы будем верить: светлый день придет!

1923

* * *

Итак, потомки исполинов,
подняв свободы меч, едины, —
мы скажем: враг, дрожи пред нами!

Врага повергнуть — дело чести.
В сердцах бушует пламя мести,
что нам завещана отцами...

1923

* * *

Опять меня зовет свобода в дали,
неистовая жажда бытия.
Коснулась сердца, спавшая в печали,
чиста, как это небо, песнь твоя.

Пойдем на пир!
Гора сверкает наша,
сияньем солнечным окружена.
Давай же вместе пить, —
ведь жизни чаша
полна чудесного вина.

1923

Воскресенье

Вновь крылья жизни у меня пылают,
лечу над цепью первозданных гор,
внизу — земля, чернея, проплывает.
Летя, лучи я сыплю на простор.

Опять лечу, от скверны меч очистив,
лечу, всем бурям подставляя грудь.
Я так хочу, хочу сквозь воздух мгlistый
в страну планет и звезд расчистить путь.

Когда ж достигну я страны той звездной, —
громовым голосом — врагам на страх —
скажу земле: сожги их в битве грозной
и пепел их костей развей во прах.

1923

Сестра!

Сестра моя, любимая, родная.
Я у тебя всегда найду приют, —
пусть даже буду выброшен на берег
житейской бурей, как разбитый челн.

У нас с тобою, друг, одни стремленья.
В сердцах у нас — страдания Лигвы.
Тебя томит тяжелая работа.
Меня — непрерываемый порыв.

Ты — молчалива и трудолюбива, —
покорно следуешь путем нужды.
А я сквозь тюрьмы прорываюсь к цели,
сквозь лес штыков иду упрямо к ней.

1923—1924

Молодость

Хорош и весел, покуда молод!
Как жаром пышет, как дышит грудь!
Пока мечтаний не тронул холод,
они зовут нас в далекий путь.

Огонь священный из сердца светит, —
у солнца надо забрать тепло.
Живи и помни, что жить на свете
и бесподобно и тяжело.

Покуда в мыслях и свет и свежесть,
пой песню жизни, о счастье пой!
Она не стерпит, чтоб жили, нежась.
Она зовет нас на бой с судьбой.

Не падай духом — увянет тело.
Стремись в высоты глаза поднять.
Навстречу смерти ты выйдешь смело,
умрешь, а солнце — взойдет опять.

Чего бояться?! Давай помножим
свет на веселье, и пусть любой
громаду жизни возьмет с подножья
и выйдет к счастью крутой тропой.

1924

* * *

Приди, тебе отдам я мир просторный, новый.
Подмел я небо — пусть нам солнце светит.
Колокола мои тебя приветят,
приди, тебе отдам я мир просторный, новый.

Я в сердце для тебя воздвиг дворец высокий,
он озарен любовью и тоскою.

Приди ко мне в цветах тропой крутою, —
я в сердце для тебя воздвиг дворец высокий

Нет, никогда в душе моей не гаснет солнце,
и океан любви гудит в ней, не смолкая.

Приди, о горестях поведай, дорогая, —
нет, никогда в моей душе не гаснет солнце.

Приди, построим вместе вечный храм свободы
из песен тех, что нам подсказаны сердцами.
В нем все страдающие будут с нами...

Приди, построим вместе вечный храм свободы.

1924

Путник

В стране гористой — снегов безбрежность,
тяжелый, скользкий и дальний путь.

Внизу долины, они как степи,
но нет приюта, где б отдохнуть.

Закрыто солнце ночным туманом,
и крылья тучи вблизи взвились.
Тень в отдаленье плывет, качаясь,
стремится спутник по снегу ввысь.

И, зародившись в глубинах неба,
пылает утренняя звезда.
К ней неустанно шагает путник,
с терпеньем, в муках, — всегда, всегда!

1924

Порыв

Взгляни — лишь тюрьма да тюрьма
и свободы тяжелое ожиданье.
Вокруг только скрипок рыданье,
кровавые вальсы и тьма.

Погашены все фонари
зловещего мрака руками.
Проулки темны до зари,
улицы — сумрачный камень.

Порою лишь красным столбом
в небо огонь взлетает,
и падает сбитым орлом —
и тишину нарушает.

Так горестно, больно...
И хочется крикнуть;
«К тюрьме не привыкнуть!
И к тьме не привыкнуть!
Довольно!
Скорее — за молот, скорей — за топор, —
разбить, расколоть эту землю и небо это
и новый выстроить мир,
исполненный света».

1924

Прометей

В часы туманов, в часы безмолвий
мы в небо мечем охапки молний.
К высотам синим взлететь сумеем,
чтоб красный пламень за Прометеем
нести на землю.

Пробьем крылами броню лазури.
И грудь подставим грядущей буре,
чтоб дерзко кликнуть свой клич у входа
в страну, где гордо царит Свобода:
на землю — пламень!

1924

Пробуждающаяся свобода

Костры разгорелись, —
языками кровавыми,
языками багровыми
тянутся — тянутся
земли нашей нечисть спалить.

Горит старый мир, он сгорит!
А бури свободы
летят над землею,
чтоб искры возмездия не гасли,
не падали вниз, словно перья
заклеванных коршуном птиц.

Тоска по солнцу

Седые тучи, дымясь над нами,
закроют солнце, того гляди...

Пройдут столетья — зажжется пламень,
и радость вспыхнет в моей груди.

Меня судьба, не жалея, била, —
так волны в берег швыряют гнев.
Ведь присягал я — догнать светила,
достигнуть солнца, не оробев.

Святыню чувства воздвиг я прочно,
кто поколеблет мою мечту?!
Темнеет небо как бы нарочно,
и сохнут губы, и сушь во рту.

Пусть нам на страже стоять веками —
увидим берег грядущих дней,
и мы украсим поля цветами,
когда закончим корчевку пней.

1924

Майский праздник

Мужчины и женщины!
Со знаменами —
на улицы!
Воздух пахуч,
небеса чисты.

Красные,
красные,
красные
расцвели цветы.

Головы вверх!
Мускул упруг.
Ступай бороться
на улицу, друг!

Землю —
в кулак
зажми хорошо!
Банду буржуев —

в пыль,
в порошок!
Люди, на улицу!
Песню пропели
в майском небе
мотор и пропеллер.
Рабочие
поля,
и цеха,
и шахт,
в страну свободы
чеканьте шаг!
Бомбой,
лавой вулканов
рвись, товарищ, вперед!
Чтоб встал после ночи —
солнца восход,
чтоб после дыма,
и крови,
и мглы —
фабрики, села
зажить бы смогли,
смогли бы запеть
каждой трубой,

каждой избой:
это есть наш последний
и решительный бой¹.

1925

Сын

Плакала мать
над сыновнею зыбкой
в дни, когда спал он
с блаженной улыбкой.

Плакала в дни, когда
бегал к ребятам,
плакала в дни,
когда стал он солдатом.

Плакала, встретив
с женой у порога.
Плакала, слыша,
как проклинал он бога.

¹ Друг поэта, известный литовский писатель и поэт Казис Борута (1905—1965), сообщил переводчику, что это стихотворение впервые появилось за двумя подписями — его и Витаутаса Монгвилы.

Сын материнских
рыданий не слышал.
С новою думой
в дорогу он вышел.

Нового бога
сумел полюбить он.
Новое солнце
сумеет открыть он.

1925

Перед рассветом

1

Вовек не погасить огня в груди моей!
Не упадет мой парус никогда.
Подайте мне бокал! Налейте мне полней!

Полней бокалы горечи, полней!
Я пью до дна за вас, чтоб навсегда
избавились сердца от рабства, от цепей.

Не надоело ль вам в тюрьме нужды сидеть?
Не чует разве сердце: час настал —
пора орлами стать, сорлами ввысь лететь!

Прошу вас всех: пока над нами мгла,
держите ружья и — полней бокал!..
Уже вдали рассвет простер крыла...

2

Нам землю новую по-новому творить.
Свободы факелы мы в руки всем дадим.
Довольно допотопный груз влачить,
законы рабские пора развеять в дым.

И в новом пламени земля родится снова,
и новый будет человек рожден.
Он не захочет ездить на спине другого,
и совесть будет для него — закон.

1925

Проходят поезда

Проходят поезда
в различных направлениях.
Видны каналы и границы,
уже нет гор, что заслоняли солнце,
крылатый ветер по просторам мчится.

Проходят поезда,
и путник наблюдает:
повсюду — горе, кровь, остроги.
Не смей, чудовище низкопоклонства,
всех едущих сбивать с дороги!

Проходят поезда,
багряных ламп свечение.
О люди! Тяжко стон в дороге слушать...
Как хочется поднять всех подневольных
и царство угнетения разрушить...

Проходят поезда
в различных направлениях
и разгоняют непроглядные туманы.
Не будет пропастей, мосты повсюду лягут,
и поезда придут в невиданные страны.

Разлив Нямунаса

Уже и Нямунас рвет цепи стужи,
вкруг оглядывается стооко...
Ему зимою в ледяных оковах
наскучило томиться одиноко.

Он волнами захлестывает Каунас,
я тюрьмами и банками богатый,
услышав грохот молота немолчный
и оркестровый гул весны крылатой.

Рабы, на волю из сырых подвалов!
В сиянье солнца, в блеске небосвода
почувствуйте величие человека!
Почувствуйте, куда зовет свобода!

Уже и Нямунас рвет шкуру стужи,
идет весна, несет рабам спасенье.
Всю грязь зловонных закоулков
пусть смоем паводок весенний!

1926

Волны Шешупе

Сырая осень. Серость. Хмурь.
Тяжелый, мокрый лист кружится.
А дождь, как слезы бедняков,
на землю грязную струится.

Шешупе катится лениво,
но разгуляется весною,
и все, что ей в пути мешало,
смывает сильною волною.

Оковы зимние срывая,
вся в пене ринется, живая,
поля и сонные усадьбы
победоносно заливая.

Попробуйте преграды ставить —
их волны в миг один низринут,
столбы снесут, запруды сдвинут
и опрокинут.

Сырая осень. Серость. Хмурь.
Но вровь река придет в движение, —

ведь и сегодня в шуме волн
мы слышим бури приближение.

1926

Средневековые оркестры

Оркестры средневековья зловещи.
Ксендзы довольны, они рукоплещут.
Поля отчизны
в тумане гонут,
бешеный танец
пляшут шпионы.

Красный змей,
конец твой пришел...
Хорошо!
Теперь — ты запомни это —
издохнешь, черт, —
не дождешься рассвета.

Таков господней славы оплот:
свобода — удел для господ.

Играют оркестры зловеще.
им льстец рукоплещет,
ханжа рукоплещет.

Кто другу не будет иудой —
тот
на электрическом стуле
умрет.

Тело истерзано.
Пуля в лоб.
Ума готова,
ложись в гроб.
Иисусе! Мария!
Время — хоть плачь,
что ни ксендз,
то палач.

В темном карцере бога запрут самого,
если красным окажется сердце его.
Оркестры играют зловеще,
властям господу рукоплещут.

В отчизне у нас
господам благодать:

процентам их в банке
расти-вырастать.

Вольготней. чем в небе,
в раю земном;
именья, имепья,
за домом дом.

Голые девки,
коньяк и вино.
Отчизна — она
устойт все равно.

Корчма, да тюрьма, да костел во мгле —
вот он, истинный рай на земле.
Оркестры играют зловеще.
Рабочие не рукоплещут.
В предместьях клич —
надрывный и злой.
«Свободы и хлеба!»
«Ханжей долой!»

Голодные встали
за рядом ряд.

Красным огнем
глаза горят.
«Холод и голод
не будем терпеть...»
«Довольно!» —
восставшие начали петь.

Грозно стиснуты кулаки.
С тюрем господских сшибайте замки!
Оркестры зловеще играют,
настоятелей созывают.

«Служителей верных
помилуй бог.
Скорей за оружие!
Революцию — в острог...»

Спешит полиция
порядок водворять.

«Толпу — разметать,
в непокорных — стрелять».

Господин настоятель
идет впереди:

крест — в руках,
черт — в груди.

Во имя Христа начинается бся.
Кровь пылает на мостовой.
Оркестры играют зловеще,
хозяева им рукоплещут.

Ружье,
браунинг,
бомба —
над гущей голов
звучат
божественней
колоколов.

Несчастных к счастью пускать
не хотят, —
добро поповское ружья хранят.

Бомба служит клике господ,
браунинг подлость и ложь бережет.

Чтоб горе не слезло с народных плеч,
вручен богатым тяжелый меч.

1926

Вернулся

Вот наконец-то снова дом, свобода,
он времени в тюрьме провел немало.
Седой отец его встречал у входа,
и мать его, рыдая, обнимала.

За что над ним злодеи измывались?!
Без окон камера. Сырая одиночка.
Тюремщики не раз, не два пытались
веревкой задушить его, и — точка...

Он терпеливо выстрадал свободу.
Пришел домой он твердый, хоть усталый.
Седой отец его встречал у входа,
и мать его, рыдая, обнимала.

Свобода — солнце. Среди слов сегодня
нет слова краше, в нем величье братства.
Тебе дано из мрака преисподней
поднять народ, разбить оковы рабства.

Ты губы разомкнешь — те, что молчали,
из мрачных тюрем выйдут люди наши,

я шар земной горячими лучами
ты опоясешь.

Приди скорей! Тем лучше, чем скорее.
В зловонные подвалы опустись!
Неси лучи — пусть нас они согреют,
и дай цветы нам, и простор, и высь!

1926

Неслыханный звук

В деревне, будто грохот поездов летящих,
мы слышим звук, неслыханный дотолес...
И зажигаются огни все чаще, чаще,
и радость вытесняет песни боли.

Пусть слышат все, кто слух еще имеет,
кто не задушен дымной мглою.
От звука этого и лес гудит сильнее
и тихие кусты шумят листвою.

Звук превратится в ветер. Этот ветер
в господский дом стучит и тяжело дышит,

Упал боец... Товарищи, не плакать!..
На той крови созреют тысячи,— тогда
убийцы друга нашего дождутся
сурового суда.

Быть может, ждут нас новые удары,
но на пути к победе мы тверды.
Оружье вырвем у врагов. Им кары
не избежать. Кровавы их следы.

1926

В окно

В окно лачуги — дали мне видны.
А солнце прячется за лесом,
что кажется, в туманы погруженный,
каким-то мертвенно-белесым.

Быть может, я заплакал бы, не видя
ни солнца, ни живых его лучей,
когда б не верил: после темной ночи
оно к нам выкатится из-за гор.

Мне слышно, как рабы влачат оковы,
как те оковы, напрягаясь, рвутся,
как у дороги нищая пастушка
рыдает горько, потеряв отца.

1926

Воспоминание

Листая книгу, я однажды в ней
нашел цветок увядший, красный,
который мне в саду ты подарила
у яблони. Был вечер ясный.

Стояли долго мы, укрыты
пахучим яблоневым цветом,
и ты, краснея, говорила —
так горячо — о том, об этом.

Теперь я в жизнь рванулся бодро,
в борьбу — без страха и тревоги,
хотя и часто спотыкался,
хотя и маялся в дороге.

Мой мир широк, просторны мысли,
и сердце вольно и сурово.
А ты... ты привязать хотела
к себе свободного такого.

Твоя любовь подобна жизни, —
жестокая, проходит рядом,
и тех, кто устоять не в силах,
она бичует без пощады.

Хоть смерть звенит своей косою, —
на подвиг жизни ринься смело!
Вчерашнее — оно не возвратится...
Грядущему отдай себя всецело!

1927

В стране родной

Нет места для меня в стране родной,
покинуть бы ее.
Здесь слишком много пролил горьких
слез я, —
несносное житье.

Спокойного угла здесь не найти мне,
где мог бы не страдать я.
Грызутся люди, словно звери, люто,
слышны одни проклятья.

Какой тяжелый мрак в краю родимом —
всех прожитых ночей темнее!
И если у тебя душа любвеобильна,—
кому она нужна, что делать с нею?

Не кланяешься золоту, за волю
идешь сражаться — тут же свяжут,
потом засудят, как злодея,
и вырвать твой язык прикажут.

О нет! Тебя покинуть не могу,
мой край родной,
пока на темных небесах твоих
не вспыхнет свет дневной.

1927

Весне

Была пора: за ястребом,
свистя, гонялись ласточки,
теперь лежит весна в гробу,
умолкли песни-весточки.

Тростник не пошевелится,
река застыла, шумная. ~
Пастух на печь уляжется,
а скот пасти не думает.

Трясина льдами схвачена,
вокруг снега безбрежные.
Когда же, тучи темные,
ударят громы вешние?

Вокруг густые сумерки
и тьма неволи сонная.
Одни гудят метелицы,
вернись, пора весенняя!

Скорей сквозь дым беги ты к нам
с букетами багряными!

Бегн, как конь:, опушками,
лугами и полянами!

Я жду, морозом скованный,
я жду тебя, истерзанный,—
твоя рука крошит гранит
и прутья гнет железные.

1928

Ветры

Идем — ведь нам объединиться нужно —
сквозь ветры, по волнам прокладывая
путь.

Пускай же ветры веют, чтобы дружно
струею свежей улицы продуть.

Душа завяла в духоте неверья.
Глаза не видят будущего... Друг,
как в новый мир открыть сегодня двери?
Как разомкнуть злосчастный круг?

Лишь юная душа ломает лед,
сама проснется и других разбудит,
и сквозь туманы в дали позовет,
и ринется вперед с открытой грудью.

Пора! Пора бы паруса поднять,
пора огней увидеть россыпь.
И ветры накаплиются опять,
срываются от напряженья тросы.

1929

Новые флаги

О жажде зывал необузданный голос,
огонь не зажегся в ночи беззвездной.
Солнце треснуло, и раскололось.
и повалилось, кровавое, в бездну.

Какими теперь пойдем мы путями,
если начало ждет продолженья?
И если в пути споткнулись мы с вами,
все к черту — от первого дуновенья?

Разве не видите новой дороги?
Разве не слышите новых песен?
Свежие силы из пропасти смогут
солнце поднять и втолкнуть в поднебесье.

Мы новый строй утвердим; навечно
друзья наши новые флаги вскинут.
Да светится молнией труд человеческий!
Душителю нашего солнца да сгинут!

1931

Жить!

Что ж, если ты другим не нужен,
мешаешь им творить,
зачем тогда
на свете
жить?

Уйди скорей с дороги, рохля!
Лезь, подлый трус, на печь!
Тот силы быстро наверстают,
кто жар борьбы сумел сберечь.

Все дни свои борьбе отдавшим,
всю жизнь свою —
лишь им дано поднять знамена
в смертельном огневом бою.

Когда молчать мы будем —
и нас и вас навечно
в гробы уложит жизнь,
костью придется лечь нам.

О вы, пожары сердца!
О звон моих оков гнетущий!
Уж лучше превратиться в глину,
чем жить без веры в день грядущий

1931

В тюрьме

Все та ж тюрьма,
все те же стены, двери.
Все то же подземелье,
где ты страдал и верил.

Все те же камеры,
которым отдал годы.
Все те ж решетчатые окна,
где присягал ветрам свободы.

И те же кандалы достались мне,
и те же стражники меня сопровождали.
Твоею кровью пахли коридоры,
когда меня в тюрьму пригнали.

Расстрелян ты... Здесь песнь мою
согнуть хотели — не согнули.
По нашим трупам буря новых лет
Шагает в грозном гуле.

1931

Присяга рабочего

Вы рабство славите, покорность, угнетенье.
А я... о чем же буду я писать,
когда оружие — в вашем подчиненье,
когда у вас в руках печать.

Когда, голодный, я по улицам скитаюсь,
слюну глотаю у пекарен, невеселый,
больной отец мой проклинает старость,
малыш мой хилый возвращается из школы.

Спокон веков терзали угнетенных,
у них ни прав, ни радости, ни света.
Но друг мой говорил мне убежденно:
не может лось не сгнуться в мире этом.

Враги его убили... Так на землю
дубок повален бурей суровой...
Тогда и присягнул я: иль погибнуть,
иль победить в борьбе за мир наш новый.

1931

Без тысяч

Креп-сатины, креп-жоржеты,
крепдешины —
все умы околдовали,
забрались во все витрины.

Тысячи.

Тысячи.

Тысячи.

Эх, выбрать бы
девку отчаянную
без тысяч и без венчания!
Работали б жадно,
жили бы дружно.
А пудра
и креп-жоржеты —
кому это нужно?!

Пусть поет, когда горе придет,
на руль нашей жизни руки кладет.
Пусть в забое
и там, где дыма тяжелого клубы,
умеет она целовать
сажей покрытые губы.
Пусть умеет она,
если нужно,
подмести мостовую чисто,
на площади ездить верхом,
служить машинистом.

Тысячи.

Тысячи.

Тысячи.

Я с презрением плюю на вас.

И без вас

я жену себе выберу —

в добрый час.

1931

Смерть на кресте

В тот вечер

она не вернулась домой:

на кривом деревянном кресте

повесилась в поле,

укрытом тьмой.

Вот вам и фабрика:

глодала,

сушила,

а потом, как собаку, выгнала, —

шляйся! —
не пощадила.
Работы!
Работы!
Работы!
Сердце горя полно,
в глазах темно.
Мать-старушку чахотка сушит,
последней стадией
душит...
То ли напиться?
То ли продаться?
То ли расплакаться?
То ли повеситься?

Надоело скитаться
от фабрики к фабрике,
шататься по улицам,
у витрин магазинов
грызть от голода ногти.
Словно по уговору,
гонят ее отовсюду, как вора.
на улицу — прочь
в ночь.

Идет, а в сердце гнева огонь,
оно —
воспалено,
воспламенено,
потому что вчера
в бесстыдстве наглом
толстый буржуй
ее насиловал
за углом.

Громко судьба
кричала,
молния в небе
блистала,
когда
она была, как весна,
молода.
А потом все пошло криво:
публичные дома с проститутками,
водка и пиво,
и один вечер, —
который тоской безысходной чадил,
который сифилисом ее наградил.

Дни пошли
пустые, как нули.
Тоскливые ночи катились —
к луне луна,
душа была тяжело больна.
То ли напиться?
То ли продаться?
То ли расплакаться?
То ли повеситься?

Куда вы ее толкаете, ветры?
Куда вы ее уносите, ноги?!
Нет ответа!
Грязна и оборванна,
остановилась в поле
близ креста у дороги

О Назаретянин,
царь иудейский,
в груди моей горе
цветет.
Куда с ним деться?
Родной своей матери старой
дала вместо хлеба яд.

Так верней прекратится
бесконечных мучений ад..
Назаретянин выслушал
без вниманья,
губу прикусив
и храня молчанье.
По тучам
луна проползала белая,
и ветры бесились
остервенелые.
Слезы катились
из глаз ее
снова и снова.
Нету выхода!
Нету пути иного!

В тот вечер пришла она в поле,
постояла одна в темноте
и повесилась
рядом с Иисусом
на кресте.

Как жаль мне ее,
в кровавых ссадинах,

с развевающимися волосами.
Словно черные флаги,
их ветер трепал
под низкими небесами.

1931

Сотни весен

Машинный стук тяжел,
когда
за окнами — весенний трепет.
В душе — по летнему цветенью,
по солнцу жаркому тоска.

Машины, громче вы шумите,
и ты, весна, —
в цветах каштанов!
Пусть в сердце
молодой рабочий
несет все запахи цветенья.

Все радости мои
проглатывает горе.
Весна — не мне.
Цветы — не мне.
Дни без досуга,
ночи без ночлега.
За что? Зачем?

Все о тебе,
великая свобода,
я думаю,
о лете, что вобрало
в себя
десятки, сотни песен.
О счастье, о далеком,
мне поют,
гудят машины,
и крепкое железо
расплющивают
молоты
легко.

1931

Возлюбленной

От бога помощи не требуй!
Не та пора — просить не нужно.
Послушай звуки новых песен,
плывущих смело, мощно, дружно.

Колокола звонят так звонко
от Крыма
и до Рима,
от Ганга и до Конго.

Они гремят: что отслужило,— вон.
Дух созидания горяч.
Послушай их
ритмичный мерный звон
и в сердце глубоко запрячь.

Не надо с белым выходить платком.
Когда антихрист глянет на твой дом,
когда тебе своим помашет знаменем,
мы все увидим отблеск пламени
на молодом лице твоём.

От бога помощи не требуй!
Не та пора — просить не нужно.
Послушай звуки новых песен,
плывущих смело, мощно, дружно.

1931

Стоит жить!

Вся ты хороша — не прекословь!
А глаза... что небо летом.
Это в них цвела твоя любовь
нежным цветом.

Да, твоя любовь мне так мила,
но не всё решают в мире ею.
Как сильна она бы ни была,
я — борец — сильнее.

В одиночке голодаю снова, —
я за счастье на земле в ответе.
Пусть сегодня жизнь еще сурова,
стоит жить на свете.

Стоит жить не для того, конечно,
чтоб твои глаза мне одному светили.
Нас беда прикрыла мглой крошечной,
танки окружили.

Стоит жить — в боренье неустанном;
ведь в борьбе любовь всего полнее...
День придет, и для меня ты станешь
всех милее.

1932

Лошади судьбы

Поводья, вожжи, построжки
переплелись — оборвались,
и лошади мсей судьбы
вздыбились — лезут ввысь.

Я был батраком,
смелым, крепким, как сталь,
а теперь не могу обуздать лошадей,
летающих полями вдаль.

Гаснущие звезды
мелькают в бездонной яме.
Как пьяное солнце, качается
весь мир под моими ногами.

Ах, не горюй, сердце мое!
Разбились мы, но не надо слез:
сейчас запряжем других лошадей,
на другой усадемся воз.

1931

Поэма о мостильщике

Какими бурями еще сыграет
наш беспокойный мир — не угадать.
Но в небесах остановилось солнце:
вернувшегося сына видит мать.

А сын ее —
мостильщик.
Вместе жили.
К лицу его шли кудри смоляные,
глаза его о многом говорили.

Он бросил молот,
и пошел,
и увидал перед собой —
там, вдалеке,
в крови
захлебывается бой.

Рвутся гранаты,
сшибаются танки.
Один человек ползет без ног,
от другого найдешь ли останки?!

И мимо мостильщика
пули свистели
смертельной метелью,
метелью свинцовой.
Штыки поблескивали сурово.
Все кончилось тем,
что доставили магери
сына полуживого.

«Сын, неужели ты здесь? —
мать сказала. —
А где твои ноги,

где твои глаза?»
«Я теперь без ног,
и без глаз теперь я...
Но мир я вижу иначе
и солнцу другому верю.

Когда вместо молота ружье мне дали,
стрелять велели человеку в человека,
я осмелел,
оставил дом,
казалось, что навеки.
И, становясь все злей и злей,
я матерям калечил сыновей.
Но ложь моих врагов
я распознал в бою
и душу закалил свою.

Вот почему теперь,
слепой, безногий,
я выступаю против лжи.
Обретший правду не бывает одиноким
Пусть солнцем новым озарится новый
век;

к тебе вернулся не грабитель —
человек».

И мать протягивает сыну руки
(таков у матерей закон):
что ей увечья, шрамы на лице,
когда живым вернулся он...

Два честных сердца звонко бьются
в лад,
и вся земля цветет надеждами, как сад.

1931

* * *

Уже рабочих наших кровь,
что пролита в борьбе, алеет...
Тебя на фабрике не видно
и в аллеях.

На этой фабрике, где я еще работаю,
дышать все тяжелее.
За окнами стрекочут мотоциклы,
бегут автобусы, шалея.

Свой молот отложив,
я вечером иду,
усталый, сумрачный, сутулясь,
иду послушать, как свистит
суровый ветер улиц.

Напоминает каждый переулочек
те ночи без ночлега,
когда разбрасывали мы листовки,
два истомленных человека.

Твои слова и песнь свободы
напоминает улица во тьме.
Тебя в ту ночь забрали,
ты в тюрьме...

Мы все равно бороться будем.
хотя борьба все тяжелее,
хотя на фабрике тебя не видно
и в аллеях.

1932

Грусть луны

Луна прекрасна
в грусти кроткой,
если смотреть на нее в угол
тюремной решетки.

Когда бесшумно она плывет,
как лодка по глади реки,
тогда хоть заплакать
или повеситься от тоски.

Тогда вспомнится песня,
и словно чего-то жаль,
и эта песня вместе с луною
напоет о любви, проплывая вдаль.

Вспомнятся хмурые лица
над рекою при свете луны.
Три молодых парня
пулями сражены.

Так недавно сердца их бились,
от первой любви дрожали.

А сейчас — хоть разорвись пополам —
так жаль их, так жаль их.

1932

На широкую землю

Я из деревни брел в другую,
от одного двора к другому.
Мятеж в моей душе зажгли вы,—
ни хлеба у меня, ни дома.

Угодья ваши неоглядны,
едите жирно, сладко пьете,
приданое скопили дочкам,—
а мне обедков не швырнете.

Стоморговцы¹ — ведь зам чужда
и горечь наша и нужда...

¹ Стоморговцы (морг — мера земли, около полу-
гектара) — владельцы ста и более моргов, богатей.

Был батраком,
был пастухом я,
был вечно в лапах нищеты.
Дробил я камни на дорогах
и перекидывал мосты.

Ржут жеребцы в хозяйских стойлах,
стада дают большой приплод.
Лежат откормленные свиньи,
из года в год растет доход.

Все это — молодость моя,
мой пот,
мой труд,
моя забота.
А нынче ночью без работы,
без корки хлеба,
без жилья,
я под открытым небом мглистым
скитаюсь по лугам росистым,
бреду по тропам каменистым,
и вновь,
бездомного гоня,
все мерзостней, все деловитей

вы по дешевке норовите
купить мой голод и меня.

Но нет,
уже не дам я впредь
себя разуть, себя раздеть.
Рабом не буду!
Грянет час —
я отберу свое у вас.
Встают
все безземельные
и все голодные,
чтоб слить в одно несметные поля,
чтоб сколотить содружество свободное.
Кто трудится — тому земля!

1932

За лесами и горами

За зелеными лесами, за высокими горами
есть край, обещанный тебе и мне.
Но я сегодня в небе темном
считаю гаснущие звезды в тишине.

Уже не так, совсем не так сверкают
звезды,
все гуще тьма.
И словно кто-то рвет ночное небо,
и жизнь — тюрьма.

В тюрьме я родился и вырос,
но не погибну в ней, —
ничто не вечно, только лживость
правдивости куда сильнее.

Пускай все звезды — друг за дружкой —
погаснут навсегда.
Но знает сердце человека:
есть путеводная звезда.

Звезда сквозь грозные пожары
в тот край покажет мне дорогу,
что за лесами, за горами
в мечтах раскинулся широко.

На бирже труда

Ждала на бирже Аня,
давно ждала работы.
Здесь много безработных,
у всех одни заботы.

Здесь барыня-толстуха
прислугу выбирала,
чтобы трудилась много,
чтоб хлеба ела мало.

Впилась глазами в Аню:
«Нам нужно столкнуться,
ты выглядишь недурно...» —
и стала торговаться.

Сквозь длинные ресницы,
спеша закончить дело,
как будто на скотину
на девушку глядела.

Да разве Аня человек? —
Она лишь тягловая сила.

Всю пашню Аня, как росой,
соленным потом оросила.

У кулака жила она,
работала, не зная сна,
ее ругали, били,
цвет жизни загубили.

Одной похлебкою питалась,
жила в батрацкой хате,
и все приданое ее —
одно поношенное платье.

Она в деревне бедовала,
года невзгоды коротала.
А дальше — город,
трубы, дым,
дворцы и нищие кварталы.

Но в городе,
как и везде,
голодному — одни заботы.
Там — были пашни не ее,
тут — не ее заводы.

Зря в сутолоке городской
искала счастья Аня,
и вот —
быть может, купят? —
стоит на бирже в ожиданье.

«Ведь у меня работы
очень мало, —
с ухмылкой барыня сказала, —
обед сварить,
посуду помыть,
полы помыть,
собак накормить,
с детьми походить,
следить за клозетом,
белье постирать,
с кавалерами не гулять, —
и за это:
на завтрак — кофе,
в обед — бульон,
и двадцать литов зарплаты».

Давно ждала у биржи Аня,
она хотела есть и пить.

Все выслушать пришлось ей молча,
чтоб на работу поступить.

И вот —
позади Аня,
впереди барыня
по тротуару идут.
Так все более грустные сказки
ежедневно рождаются тут.

1932

Полевая лилия и дитя улицы

Одну деревенскую девушку
я любил, полевую лилию.
И поутру вспоминал ее.
и ввечеру целовал милую.

Я — дитя улицы,
влюбленный оборвыш —
что же я делаю?!
Прижимаюсь к любимой нежно,
сажей пятная грудь ее белую.

Отец в шелка наряжал,
украшал он мою желанную.
Пять коров ей отец сулил,
в сундуках дорогое приданое.

Потому что дочь свою
выдать замуж задумал
за многоземельного,
за толстосума.

Но в сердце девушки —
лилии полевой —
любовь не гектарами мерялась, —
солнечной синевой.

Потому-то отец
проклятье в лицо нам кинул:
«Прочь из дома,
в семье не нужны бедняки нам!»

И вот однажды вечером,
под яростными ветрами,
мы — двое униженных —
темными шли полями.

Любовь, что гектарами меряют
и звонкой монетою,
такую любовь мы из сердца выбросили —
нет ее!

1933

Кузьма-безбожник

Моей поэмы не прочтет Кузьма-безбожник,
борец мятежный тех времен непозабываемых,
когда на ширь полей литовских,
как вороны, слетались иезуиты.
Богобоязненно сомкнувши губы,
они безбожникам хребты ломали
и, языки им вырывая,
полуживых в костры бросали.

Тогда и юноша Кузьма,
простой и славный,
погиб в борьбе неравной.

Но павших мучеников тени
так откровенно с нами говорят

в часы полночных бдений...
Вот почему —
наяву и во сне —
помню замученного Кузьму —
он обжигает сердце мне.

Мысли его свободные,
в огне костров сожженные,
яркими звездами освещают
темное небо бездонное.

Потому-то картины жестоких боев
и дымы костров
дорогами времени неизменно
бегут из прошлого в современность.
Потому-то пылает весна
под красными небесами,
и сын крепостного —
Кузьма
встает, как живой, перед глазами.

1932

Последние слова

Голова закружилась от хаоса,
сердце стало что камень.
В последний раз пришла она,
когда горел закатный пламень.

«Любишь ли ты меня?» —
спросила она.
В ее глазах повторилась ночь,
мерцающих звезд полна.

Прочел я по этим звездам, —
вестницам расстояний, —
что в них, увы, — не надежда,
а отблеск вчерашних страданий.

«Я не знаю, что значит любовь, —
сказал я с угрюмою силой,
и мне показалось, будто ножами
сердце насквозь пронзило. —

Уже не тот я, кем был вчера.
Долой пустые мечты.

Забудем нежные вечера.
надежды розовые кусты.

Жизнь что сталь.
Стану подобьем металла,
чтоб никакая любовь
бороться мне не мешала».

Из глаз ее, словно звезды малые,
слезы катились — едва, едва,
и падали словно лилии вялые,
песни последней слова.

«Я лишь для любви создана...
...для сожаления», —
сквозь слезы молвила она
и, словно узница тюрьмой,
в одно мгновенье
была глубокой тьмой поглощена.

Ах, они уже не вернутся ко мне —
мечты, что тают в розовом дыме.
Стальная песня в сердечной кипит глубине,
стальные цепи звенят стихами моими.

1933

На жемайтйской земле

1

Сижу я на вокзале.
Буржуи хлещут пиво.
Искать отправляюсь счастье,
а смерть найду — не диво.

Осталась мать в Сувалькии
в нужде великой.
Не я накликал беды на себя, —
своей свободы буду я владыкой.

Бот поезд свистнул.
Дым потянулся в синь.
Будьте здоровы, окрестности Каунаса!
Как знать, где горю скажу: аминь.

2

Акмяне низины дивные,
путник глядит и не дышит:

луна в тумане серебряном
поднимается все выше.

Навалилась на склоны зеленые
звездная ночь золотая.
Можно, милую позабыв,
всю ночь просидеть, мечтая.

Так хорошо и приятно,
что можно забыть и о солнце.
Акмяне бежит по камням —
извивается и смеется.

Такого рая не создать
ни люциферу, ни богу.
Можно совсем опьянеть от того,
как ветер плывет по влажному логу.

Мицкевич,
должно быть,
ты не видал
Жемайтии зеленой края,
если хвалишь долину Қаунаса.

А я

за всю ее не отдал бы
и одного акмянского соловья.

3

Беспокойство меня привело сюда,
к берегам Акмяне зеленым.
Но мне весна без любви не мила,
весна так нужна влюбленным.

Ищу я ее везде по Литве,
не ведаю — где она.
Без нее мне и неба не надо,
и звездная ночь не нужна.

Где же ты, милая, где ты?

Взглядом брожу
по прибрежному краю.
Как обездоленный жемайтиец,
голову я склоняю.

Вижу во сне, как, с солнцем в руках,
спешишь на утренний воздух,

и самая темная ночь тебе
сыплет под ноги звезды.

4

Так звучен и так беспокоен
жемайтийской кукушки крик.
Пригорки, леса и озера —
разве небо красивей их?..

Жемайтию на город не сменишь.
Так хорошо мне во ржи.
На лугу, распевая песни
и насвистывая, лежи.

Но песня не будет веселой, —
жемайтийцу тоска без земли.
Запел — и песнь загрустила,
и слезы из глаз потекли.

Собрать ли те слезы кукушке,
пескам ли их выпить, — нет,
лишь сам жемайтиец сбросит
яромо этих тягостных лет!

Оккупированные богом
звездные небеса
жемайтиец положит наземь, —
всем откроется их краса...

5

Сверкающая на солнце
золотая, кристальная Миния.
В твоей родниковой воде
руки грязные вымою.

Грязные не от безделья —
от черной и тяжелой работы.
С твоею волною сольются
капли соленого пота.

Тельшай,
Клайпеда,
Паланга —
мой и не мой.

Сердцу свободно при виде блеска
Минии серебристой струи.

Свобода чиста, как Миния,
светла, как глаза небесные.
Голос свободы звучит
соловьиными песнями.

Миния, Миния, Миния,
отдаю тебе сердце, родная.
Пусть вспенятся волны синие,
жемайтийское горе смывая!

6

Сегодня на мне еще шапка есть,
завтра и той, может статься, не будет.
Не нервничайте, сувалкичи,
в Жемайтии я не подохну, люди!

Работал на фабрике мой отец.
Мать огороды полола от века.
Могут ли ветры наземь швырнуть
рабочего человека?!

Огромны поля Жемайтии,
не мои это земли, знаю.
Но полной грудью дышу,
хоть часто без хлеба бываю.

Нужда рождает героев,
голод ожесточенью учит.
Прозвучит на всю Жемайтию
рабочей армии голос могучий.

1934

* * *

Когда подсолнух в предместье
повернул на запад голову свою,
пришел я домой
и молоток положил на скамью.

Как цветок золотого подсолнуха,
лепестки молодых моих лет
медленно раскрываются
в водоворотах бед.

Молотком целый день
я стучу до седьмого пота,
из меня последние соки
высасывает работа.

30-е гг.

* * *

На мотив Байрона

Вставай и, словно бы ничтожнейшую малость,
разбей видения и призраки туманов,
чтоб руки смело поднимались
на деспотов и на тиранов.

Нет смысла жить, когда, живя, робеешь.
За правду умереть — наш долг и наше право.
Вперед! И трусу жалкому ты доказать сумеешь,
Что в битве пасть — почет и слава.

30-е гг.

Не люблю никому жаловаться,
ни к кому не взываю плаксиво я,
но сегодня тонет в слезах
каждое слово правдивое.

Моей юности вѣсны
не венчаны звезд венками,
потому что, рожденный в лачуге,
вышел я в свет с пустыми руками.

Сколько лет мне было тогда, —
толком и не припомню такое, —
когда начал тесать я камни
для господских покоев.
И теперь тяжело я работаю
с утра
и до позднего вечера,
едва живой
плетусь домой,
а дома поесть нечего...

Однажды вечером
после долгой работы,

когда тени смятенны,
я на камне сидел
и глядел на господские стены.
Был тихий вечер
звездным венком увенчан.

Окна покоев блестели,
серебром луны залитые,
и камни, что нами тесаны,
сияли как золотые.
Так тяжело
далась нам эта работа,
что стены поблескивали —
серебрились
каплями нашего пота.
Кирпичи носили,
глину месили,
крышу мы черепицей крыли,
чтобы удобно они здесь жили.
А теперь —
своим трудом
господам создавшие дом —
без сил в лачуги свои бредем.

Там нас встретят
голодные дети
и бледные жены.
А в покои господ
мебель внесут,
и в новом шкафу для последних мод
развешат шелка примадонны.
Мы устроили им удобные ванны:
будут утром купаться,
плескаться лениво,
а после — долго глядеть в зеркала
и подкрашивать брови неторопливо.
Мы им дали центральное отопление,
здесь будет тепло им, будет просторно.
Они на окнах цветы расставят
и занавески задернут.

30-е гг

Флаг

Когда под тучами молнились дни нашей юности,
шагали мы с флагом смело и дружно.

Что розги судьбы, если в завтра надо зарю нести!
Что тюрьмы, если добиться победы нужно!

Но все меняется. Даже цвета плакатов.
И время даже на солнце бросает темные пятна.
Сегодня от флага мы отвернули взгляды,
смелость былая ушла безвозвратно.

Может, мы умерли? Может, маски на наших лицах?
А может, воля вести нас вперед не хочет,
раз этот флаг разодрали ветры-убийцы
и разбросали повсюду клочья.

И кто его снова поднимет и вскинет могуче,
чтоб флаг, как огонь, полыхал и не гас
в ту пору, когда наплывают темные тучи
и темная ночь обнимает предательски нас?

30-е гг.

Я прошел по Литве...

Колесо червонного солнца
за линию горизонта

закатилось,
ушло в темноту облаков,
и тут же тысяча звезд засветилась.
Я стоял,
точно раненый, в зареве фронта
к звездам руки свои простирая.

Хоть одну звезду
брось мне,
боже,
на луга,
осыпанные пылью росной,
покуда солнце
дорогой спешит светоносной.

Но бог мне ответил:
«Ты слаб, ты недужен,
а поэтому мне не нужен...»

«Какой захотел
от меня ты мощи!
Дело проще:
потому ты не слышишь моих призывов,
что сердце мое спокойно,

что сердце мое правдиво.
Я прошел по Литве
вкривь и вкось,
как бродяга.
Я бродягой прошел по Литве
без ночлега,
без хлеба,
человекз искал — не на пустоши неба, —
под соломенным кровом крестьян
и на улицах городов.

Боже,
хоть звездочку —
пусть мала и легка —
брось на луга,
осыпанные пылью росной,
покуда солнце,
дорогой спешит светоносной».

Но бога суровый голос
из облака громом ответил:
«Ты слаб, ты недужен,
а поэтому мне не нужен!»

«Какой ты мощи захотел от меня!
Чтобы я от себя отказался, обезголосел
и, как раб, судьбу кляня,
сердце свое
тебе под нѳги бросил?!»

30-е гг.

Ничто не вечно...

Не раз меня яскушали:
плюнь на все, что встретишь на свете,
и шагай себе тем кривым путем,
что маняще золотом светит.

Но я вижу:
вчера ушедшее солнце
сквозь туман поднимается в вышину
и отчаяннейшие ветры
сменяют тишайшую тишину.
Поэтому знаю, —
ничто не вечно:
в радость мою
мои превратятся страданья.

Я буду свободен,
как узник,
что вышел на волю
в день, полный сиянья.

На судьбу не жалеюсь никому.
Иду своею дорогой,
всеми забытый.
но очень довольный,
иду без опаски,
хотя бы уже потому,
что на глазах моих
нет повязки.
По берегам Шешупе блуждаю,
когда тихий вечер,
багрянцем расцветенный,
гаснет вдали
и загораются звезды во мгле.
Ах, как хорошо,
ощущая покой
вечерней поры.
раскуривать трубку
и наблюдать за рекой.
над которой клубятся пары.

Туман над водой,
как белые облака,
плывет на луга,
а из трубки дым голубой,
не спеша, понемногу,
поднимается в небо,
к богу.

О боже,
тебя нигде я не нахожу
и не буду глупой овцою,
что с завязанными глазами,
с окровавленными коленками
невесть куда поспешает рысцою.

Раз уж ты сотворил меня, —
крылья ангела дал бы мне за спиною,
и не были б дальней далью тогда
звезды, что в небе сейчас надо мною.
Не дал — не жди меня.
Только трубочный дым
тебе я жертвую, повторяя:
теперь не в небе, —
земными путями

ищу на земле
владения рая.

Как черт, я выброшен
за небесный круг,
поэтому черт мне друг,
поэтому песню мою я меня
услышат с приходом нового дня.

30-е гг.

* * *

В небе черные тучи плыли,
в вершинах елей шумели ветры.
В открытом поле, покрытый пылью,
лежал солдат безответный.

Кровавые волосы ветер путал,
глядели в небо глаза, не мигая.
В серых глазах застыла как будто
жизнь недожитая, дорогая.

Земля, что взяла его силы, здоровье,
за которую бился он,— поле пустое, —
не стоит и капли его крови,
и волоска его даже не стоит.

За жизнь, что всего дороже на свете,
он десять таких бы земель заработал, —
были крепкими руки эти,
кормившие мать и отца заботливо

30-е гг.

* * *

Я, поэт бедноты,
цветением юности не успевший
упиться,
сквозь строй тюремный
прогнанный, как убийца,
я,
господам не продавший душу свою,
о настоятеле ныне пою.

Господин настоятель!
Нравится мне твоя шляпа,
на сукна твои
я часто глазею,
на грудь, на осанку
преподобного фарисея.

Нравится мне скотина
в твоих хлевах,
красные вишни и яблоки
в твоих садах.

Нравится мне твой алтарь
и висящая в воздухе
лампочка с маслом,
чтоб денно и ночью
Иисусово сердце
горело — не гасло.

Нравятся мне твои проповеди
о любви к ближним,
о том, что не надо
стремиться к богатству земному,
о разинутой пасти ада.

Знаю:
не я, поэт бедноты,
и не те, чьи руки,
в мозолях, тверды,
дом тебе строили —
поудобней, получше, —
не мы матери божьей благословенье
получим...

Но больше всего мне нравится:
ходит тихо,
говорит негромко —
краснощекая твоя избранница,
грудастая экономка.

30-е гг.

Пробуждение весны

Улыбка весеннего солнца — подарок.

Как ярок весны золотистый наряд!
Все жаждут тепла... Из лачуг и хибарок
и стар выползает на солнце и млад.

И дух мой, отмеченный долготерпеньем,
летит, беспокоясь, тревожась, на свет —
по тропам лучей, и парит в отдаленье.
И дальше хотел бы, да выхода нет.

Горячие образы первой любви
пронзают мне сердце победно.
И гнев поднимается вихрем в крови,
что в юности сгинул бесследно.

О, если б вернуть отгремевшие годы,
а с ними и запах весенних ветров, —
погибшие встали б во имя свободы,
пошли б на открытие новых миров.

Я чувствую: солнце все жарче лучами
округлость земли ласкает и греет.
А в сердце моем — как далёко вначале —
родится желание нового, зреет.

Я буду бороться и — сроки придут,
и в царство свободы вступлю я — навеки,
где братья бессмертные песни поют,
безмерную душу раскрыв в человеке.

30-е гг.

Подайте на пропитанье

Словно замученное животное —
ни поест, ни вздремнуть, —
кончала уборщица Дарулене
свой тяжелый жизненный путь.

С половой тряпкой,
с грязным ведром
на поденщину шла
из дома в дом.

Трудно счесть городские огни,
что светят в ночи,
но труднее
счесть километры полов,
вымытых в жизни ею

Сердце честного человека
от боли вздрогнет, когда
услышит о том, как Дарулене
влачила свои года.

Можно бы и не вспоминать
ни тряпки, ни ведра,
если бы поломойка была сыта,
если бы видела
хоть немного добра...

Если бы по ступеням костела
никогда бы не лазала,
и не просила б на пропитанье,
и не пела бы Лазаря.

Как собака бездомная,
Дарулене жила.
И вот до отчаянья
горемыка дошла.

Темный зимний вечер.
Костел.
Стертые ступени.
Руку костлявую протянув,
сидит Дарулене.
Ветры гудят за оградой.
А в соборе, огнем залитые,
алтари горят золотые.

О Иисусе!

Перед праздничным часом

епископ в такси примчался.

Люди к собору стекаются.

В воздухе звон денег.

Это бросают настоятелю в кружку,

а не Дарулене.

«Подайте на пропитанье», —

взывает она, голодная,

нет уже сил подняться,

тело согреть холодное.

«Именем Иисуса прошу — сжальтесь!»

Но пусть хоть сто епископов явится —
бесполезно:

равнодушие к бедному не исчезнет.

Епископ, прежде чем ехать в костел,

пришел к настоятелю на дом,

потому что ему сытно поесть

и отдохнуть надо.

Ведь завтра он проповедь произнесет

о том, как любить ближних.

Он шел.

•Белыми лилиями падал снег
под ноги на булыжник.

«Подайте на пропитанье!» —
так поломойка просила.
но ветры просьбу ее уносили,
и слова ее тряпками повисали
под куполами
в холодной сини.

А с неба снежинки падали
нескончаемо друг за дружкой.
Запер тяжелые двери
костельный служка.

«Ступай-ка домой, старуха!» —
обвел поломойку суровым взглядом
и пошел ужинать
к настоятелю на дом.

Зимние ветры бесились,
снег продолжал валиться.
Поломойке сладким сном
стало смежать ресницы.

«Подайте на пропитанье!» —
без памяти повторяла.

За железной оградой вихри
стелили снегов покрывало.

И когда наутро
утихли ветры,
нашли поломойку
замерзшую, безответную.

Словно замученное животное,
на соборных ступенях
свой жизненный путь
кончила Дарулене.

В том самом соборе
вечером
сияли хоругви,
горели свечи.

«Все перед богом равны! —
епископ вещал, повторяя, —

кто накапливает богатства земные
навсегда лишается рая».

30-е гг.

Винцас Дарулис

(Отрывок)

Дарулис Винцас — человек труда,
он жил в лачуге на краю предместья.
Сквозь дыры в крыше капала вода,
и ветры грохотали жестью.
Здесь жил отец его — господь не уберег.
Послушный раб молился, умирая.
Он верующим был, так пусть же бог
перед отцом врата откроет рая!
А сын в наследство получил телегу
и клячу заморенную, без сил.
На той телеге с лошаденкой пегой
отцом оставленные беды он ташил.
Чуть свет проснувшись, сумрачно Дарулис
голодный завтрак свой жевал, потом

в телеге тряской ехал он вдоль улиц,
угрюмый, тихий, согнутый трудом.
С утра до вечера он озабочен,
кирпич привез — вези песок опять.
Ну, а еще он нужен был, чтоб ночью
дворы от нечистот освобождать.
Его кирпич шел на большие зданья,
и хоть бедняк работал за троих,
но видел зданья те на расстоянье,
когда в лучах сияли окна их.
Жизнь обошла его. Жить было больно.
Как все, кто был на свет рожден бедой,
сгорал он на работе подневольной,
до срока изможденный и седой.

30-е гг.

Любимейшая страна

Страна из любимых любимая —
· взволнованная Испания.
Там полыхают знамена
невиданного сияния.

Вдали мы склоняем головы
перед твоими знаменами.
Сегодня сыны твои — с нами,
в огне борьбы закаленными.

Быть не хотим под властью
и властвовать не хотим.
Тюрьмы народов завтра
разрушим, развеем, как дым.

Если хотим, чтобы солнце
было без пятен,— нужно
пожаром зажечь поднебесье,
землю встряхнуть дружно.

И тогда, потрясенная до глубин,
наша страна, как Испания,
поднимет свободную песнь,
песнь невиданного сияния.

Чтобы свободу завоевать,
силой насилью ответим.
Крепкие сваи в землю вобьем,
чтоб их не сорвал ветер.

1936—1937

Приди!

Приди! В душе, несчастьями забытой,
источник зноем высушен. Приди!
Я знаю: сердце для любви открыто,
тропа любви ведет к моей груди.

Быть одиноким — нет грустней удела,
ведь это гибель — счастье одного.
Так искра от огнива отлетела
и вмиг погасла,— только и всего.

Быть может, ты словам моим не веришь,
как сам не верю я словам чужим.
Что толку в них! Открыты сердца двери,
Мы лучше, друг, с тобою помолчим.

Доверье и душевность понемногу
окрепнут в бессловесной тишине.
Найдешь ты к сердцу моему дорогу
и станешь верным другом мне.

Приди! Без друга мне утехи нету,
мне в одиночестве все горше, все трудней.

Длинна дорога из потемок к свету;
с тобою мы, борясь, пойдем по ней.

1938

Ночь

На небе пасмурно. И всюду тучи,
и меркнет солнца свет вдали,
на горизонте след кровавый, жгучий,
и эта ночь, как пропасть вполземли.

Спешишь полями, улицей идешь ли,
дорогой пыльной,— так везде темно,
что тяжелой ночи непосильной ношей
ты будешь в землю вдавлен все равно.

И эта ночь плывет, подобно гробу,
как намогильный камень тяжела.
И в самом терпеливом только злобу
рождает сумрачная мгла.

Но нету темноты такой на свете,
чтоб глазом не пронзить ее.

И нету тяжести такой на свете,
чтоб сердцем не поднять ее.

1938

Сон

До утра — одно томленье.
Мне приснился страшный сон:
на страну мою родную
тучи шли со всех сторон.

И страна и я — забыты.
Мы над пропастью. Беда!
А из черной-черной тучи
с гулом хлынула вода.

Вопиющие в пустыне,
жаждущие блеска дня,
мы в отчаянье кричали:
«Дайте света и огня!»

Нам казалось, что навеки
нас поглотит ночи тень.

Никогда и ниоткуда
не блеснет нам вешний день.

Но внезапно недра ночи
раскололись в блеске гроз.
По стране горячий ветер
искры быстрые понес.

Пламя... туча запылала,
как горячая смола.
Перед огненным потоком
мигом отступила мгла.

Сон уплыл в потоке солнца.
День вставал во всей красе.
Вижу: край наш закружился
в светлом быстром колесе.

1938

Моя отчизна

Отчизна у меня — поля, леса и горы.
Дубиса, Нямунас, Шешупе — наши реки.

Я с детства полюбил ее просторы,
рабочий люд я полюбил навеки.

Отчизна милая! Ее люблю я. Очень.
Все счастье личное ничто пред нею.
С ней не страшусь я самой темной ночи,
ее страданьем давним пламенею.

Отчизна милая: она — мое спасенье.
Мне без нее, как узнику — томиться,
не жить, как вырванному из земли растению,
не взмыть в высоты, как бескрылой птице.

Отчизна милая, я с нею связан кровно.
Никто, ничто не встанет между нами:
ни наглый пан, ни дармоед чиновный,
ни рабство с плетками и кандалами!

1938

Не виновен я...

Не виновен я, что все мы
в рабстве мучились жестоком,

что в беде бывали немые,
что струилась кровь потоком.

Не виновен я, что почва
эту кровь в себя впитала,
но не вызрел плотный, сочный
плод, что почва обещала.

Не виновен я, что грустно
лес шумит, лишенный света,
что сухие листья с хрустом
ветер злой срывает с веток.

Не виновен я, что хочет
сердце жить, не зная смерти,
хоть его, как черви, точит
жизнь в безжалостном усердьи.

Может, в том лишь я виновен.
что слова в душе сгорают,
что они весною новой
розами не расцветают.

1938

Был бы я...

Звездочка ночной порою
упадает с высоты.
Так вот что-то дорогое
каждый миг теряешь ты.

Ты плетешься в мастерскую.
ты домой идешь как тень.
Радость бытия простую
ты теряешь что ни день.

Как цветок, что под забором
в городской пыли зачах,
ты тоскуешь: ведь не скоро
утро расцветет в лучах!

Был бы я великим богом,
все тебе послал бы я:
города, луга, дороги,
радость бытия.

Солнце в высях небосвода
не давало б места мгле.

Безграничную свободу
даровал бы я земле.

Но не быть мне этим богом,
никакого бога нет...
Наша жизнь темна, убога,
но в борьбе добудем свет!

1938

Письмо

Милый мой, чем открываешь шире
ты глаза,— тем боль острей в груди,
тем все больше подлости ты видишь в мире
тут и там — куда ни погляди.

Ты сочувствие найти в других мечтаешь,
человеческой ответной доброты,
но поймешь, когда людей узнаешь,
что немного есть таких, как ты.

Может, равного не встретив друга,
от людей задумаешь уйти,

вырваться из замкнутого круга
тех, с кем было по пути.

Может, скажешь: мне совсем не жутко,
пусть погибнет мир, я жду конца,
потому что жизнь — пустая шутка,
и надежда — выдумка глупца.

Но, сказав, поймешь ты: это — ветер,
ложно шелестящие слова.
Поживем еще с тобой на свете,
пусть закрыта — в тучах — синева.

1939

Этому не бывать!

Сердце нежное, тревожное свое
за грязный звон монет
кинуть под кровавую стопу дельца?!
Нет!

Уж лучше жернов к шее подвяжу
и в Нямунасе голубом
отважусь утонуть я, но не буду
ничьим рабом.

30-е гг.

Продавщица в магазине Пинигене¹

Работала она у Пинигене,
и кареглаза и стройна.
Шелка и сукна целый день бессменно,
больная, мерила она.

Она выкладывала ткань, — купите! —
хвалила барыням товар.
Так и тянулись дней бессчетных нити,
и гас до срока молодости жар.

За жалкий лит, за хлеб с водою
богатства сердца расточай!

¹ Фамилия образована от «пинигай» (лит.) — деньги.

Стал магазин ее тюрьмою,
был адом для нее господский рай.

Когда богатые франтихи
несли на бал свои шелка,
она в своей каморке тихо
рыдала,— жизнь была горька.

Она кляла судьбу, бранила бога,
его коварство, жесткий нрав:
богатому он дал дорогу,
и тот бесчинствует, и — прав.

Слезами горю не помочь. Хоть лей их
годы,

увы, не уплывет беда.
Известно: в светлый порт свободы
лишь буря занесет суда.

И, подневольная. с горящими глазами,
томившаяся взаперти,
отважилась нелегкими путями,
путями бурь сквозь жизнь пойти.

Старуха Пинигене зло кричала,
от ярости — белей стены:
«Прочь уходи, и — чтоб ты знала:
мечтатели мне не нужны!..»

Как мыкать горе, девушку спросите,
и как избыть то горе навсегда...
Ее наряд — грошовый ситец,—
весь шелк забрали господя.

1939

Ты

Одна ты мне мила. Ты хороша,
ты — кровь моя, и сердце, и душа.

Люблю тебя. Как самого себя.
И ночью жду, волнуясь и любя.

Кто хвалит, кто хулит тебя, мой друг.
Любви все это слушать недосуг.

Ты не предашь меня, мой друг родной;
всем, что хранишь, поделишься со мной.

1939

Богом покинутая овечка

В закатных отсветах,
как свечка восковая,
стояла башня вековая,
и колокольный звон,
как подневольный стон,
тоскливо плыл, —
темнеющие дали
его назад не отдавали.

Пред алтарем —
старушка сгорбленная
на коленях
стоит скорбная,
в черном платке,
черные четки держит в руке.
Ах, господи,

одолела беда,
Помоги, Христос,
надоела нужда!..

Ее слова, что звон колоколов.
Как этот звон, дробятся звуки слов.
Глаза старухи
смотрят ввысь
на господу, —
под золото окрашен он.
Алтарь как будто золотым дождем
обильно окроплен.
Ах, дождиком кропилось,
тут-то привалило
и Христу, и Марии,
и прислужнику со всей братней,
но больше всего — настоятелю.

А покинутая богом овечка,
старушечка,
словно оплывшая свечка,
стоит себе на коленях,
четки перебирая,

дожидается рая
и шепчет о любви и терпенье.

Божьи глаза
от вина
овальные
и от золота
словно зеркальны.
Господь спокоен, он смотрит лениво
на нищих,
молящихся терпеливо.

А колокольный звон,
как подневольный стон,
плывет, плывет, печальный,
словно он и впрямь прощальный.

1939

Литве

Ты поднята на штыки.
В сердце — нож законов.

А кровь твою пьют
девятьсот девяносто девять шпионов.

Бессильна ты,
сыновья твои — в тюрьмах, не дома.
Со штыков тебя снять под силу грозе:
вспышкам молний и грохоту грома.

1939

Сообща добудем свободу

Слушай, Литва моя, слушай, страна!
Рухнет тюремного гнета стена,
в битве решающей сгинет нужда,
встаньте немедля, дети труда!

Яростью полные,
вызовем молнии,
вызовем гром!
Славное дело —
дружно и смело
рабству готовить разгром.

Горе выдавшие в пыльных цехах,
гнувшие спины на барских полях, —
горе оставим в прошлых годах,
выше поднимем рабочий стяг!

Яростью полные,
вызовем молнии,
вызовем гром!
Славное дело —
дружно и смело
рабству готовить разгром.

Строили мы для банкиров дома,
нам же служила жилищем тюрьма.
Нас поджидала одна лишь нужда, —
с нею покончить пора навсегда!

Яростью полные,
вызовем молнии,
вызовем гром!
Славное дело —
дружно и смело
рабству готовить разгром.

От угнетателей нечего ждать,
надо свободу самим добывать.
Все, что тут создано нашим трудом,
сами — по праву хозяев — возьмем!

Яростью полные,
вызовем молнии,
вызовем гром!
Славное дело —
дружно и смело
рабству готовить разгром!

1939

Песнь снежинок

Годы пролетают, будто ветер.
небо все темней. мертвеет луг.
Круг проклятый кто-то вертит, вертит,
заколдованный, тяжелый круг.

Северные ветры рвут друг друга,
песня их жестокая — стара
Сколько снега на просторах луга.
но не унимаются ветра.

Снег. Снежинки. Светлый зимний воздух.
Блестки беленькие... На земле
вы, снежинки, светите, как звезды,
искры солнечные в полумгле.

Не купить за деньги вас, лучистых,
напоенных солнечным огнем.
Всех я в сердце соберу вас, чистых,
и надежда вострепнется в нем.

И моя дорога засияет,
уводя в прекрасный, светлый век,
Так снежинки снова оживают,
так к надежде рвется человек.

1939

Все равно придет весна

Томительное бремя,
несносная нужда,
ты, проклятая всеми,
беда, беда, беда.

Как кошка пряжу, спутав
людские мысль и страсть,
ты топчешь все, как будто
твоя безмерна власть.

Вот кажется, что нету
надежды на земле
и звездам и планетам
уж не светить во мгле.

Но нет, ничто не вечно.
Крошится камень скал.
А встречный, быстротечный
псток загрохотал.

Сквозь слезы, беды, муки,
приветливо ясна,
весна к нам тянет руки, —
она идет, весна!

1939

Товарищу по борьбе

Лишь голько молча посмотрю
в твои глаза, что так горят, —
как будто вижу я зарю
и снова жить на свете рад.

Сердца страдают от ненастья,
сердца болеют от невзгод.
А ты, изведав все напасти,
шагаешь с песнею вперед.

Нет, не о звездах эта песня,
не о ночах, — о свете дня,
о солнце в далах поднебесья,
о жарком роднике огня.

Как правый гнев закабаленных,
звучит твой голос боевой.
Поешь правдиво, увлеченно.
и отклик ты найдешь живой.

Все шире, выше песен пламя.
Оно — победы торжество.
Из рук твоих беру я знамя
и поднимаю ввысь его.

1939

Подарок

Не плачь! Зачем, родная, загрустила?
Цветок багряный я тебе дарю.
Есть выход в горе, будь лишь только
в силах
нести в душе надежд своих зарю.

На свете много бед. Бороться трудно.
Дорога к счастью — это тоже бой.
Пускай цветок тебе напомнит, друг мой,
о том, что неразлучны мы с тобой.

Ведь нити горя ткали наше братство.
Сдружившихся в борьбе — не разлучить.

По всей планете, попирая рабство,
должны свобода с правдою светить.

1939

Ещё не все сломали мы преграды

Еще не все сломали мы преграды,
не все оковы разорвали мы,
не будет до тех пор к врагу пощады,
пока не сгинет всюду царство тьмы.

Мир полон лжи, корысти и тревоги.
Узнай, где враг, где друг,— ценой любой.
Лишь только с тем нам нынче по дороге,
кто вместе с нами вышел в трудный бой.

Идем, идем сплоченными полками.
Пусть красный флаг взвевается в синеве!
Мы не отступим ни на шаг, покамест
не воцарится правда на земле.

Друзья вперед уверенно шагают.
Революционной песни смел полет.
Пусть враги оружием угрожают —
великий день победы к нам идет.

1939

Свободному ветру

Ветер! Ветер! Ветер-друг,
ты свободен, ты упруг.

Настежь окна! Почему
не бывал в моем дому?

Ты цветов набрал и — в путь.
Что ж, меня не позабудь.

Погляди на эту высь!
Настежь окна! Оглянись!

Без тебя мне скучно, друг,
ты свободен, ты упруг.

1940

Звезда полуночи

По белу свету побродив, нужду изведав,
в жилище старое свое пришел опять я.
На окнах там цвели когда-то белые цветы,
там было на столе моем распятье.

Я грустный-грустный примостился у окна.
За горы солнце уплывало.
Нс ни одна еще звезда в небесной шири
несмелым светом не сияла.

И только полночью в небесном океане
одна звезда алмазом заблестела.
Лучи ее возникли предо мною,
пронзив стекло, как огненные стрелы.

И я услышал ясный-ясный голос,
он из грядущего пришел, и чист и светел:
когда червивый плод упасть не хочет,
его сорвет свободы свежий ветер.

1939

Свет с неба

Быть может, долго жить тебе в неволе,
цветов любви и правды не срывать.
Как псу, что выгнан в ночь, в пустое поле,
пристанища тебе не отыскать.

Быть может, ты падешь от пули вражьей
за то, что трусом не был никогда,
не кланялся хозяевам, всегда же
был горд, как человек труда.

Ты хладнокровно встретился с недолей,
с преследованьем, с кознями врагов.
Ведь кто своей железной верит воле,
тот может стать свободным от оков.

И Прометей — изгнанник непреклонный,
отвергнувший божественный запрет,
горячей кровью сердца обагранный, —
у неба вырвал свет.

1939

Мои слова

Эти не последние слова мои
выношены в тишине ночной.
В сердце — беспокойные, упрямые —
выстраданы мной.

Их выращивая, сам я рос с годами,
с ними заодно учился жить.
И слова звучали обещаньем
как огонь светить.

Людам так светить, чтобы слепые
из потемок находили путь.
Я не продавал слова скупые, —
ими дышит грудь.

Кто сегодня в мире правду ищет,
тот в моих словах себя найдет.
Кто рожден в нужде в лачуге нищей,
тот меня поймет.

1939

У могилы друзей

Друзья-бойцы, люблю я вас.
Нет вас... но свет ваш не погас.

Отчизне — жить
и жизни — быть,

всегда, везде
светить звезде.

Над вами здесь
взовьется песнь,

а с ней, красна,
придет весна,

придет, лучась,
в счастливый час...

Друзья-бойцы, люблю я вас.
Нет вас... но свет ваш не погас.

1939

Свободная песнь

Выходит правда на простор.
Кровавый пир окончен.
Теперь свободной песней, хор,
звучи смелей и звонче!

Как полночь, жизнь была темна,
горька терпенья чаша.
Свобода нам возвращена,
о ней и песня наша.

Пришли навеки — в добрый час —
твои, свобода, сроки.
Ты глубоко в сердцах у нас,
мы все — в твоём потоке.

Нас поздравляют из могил
погибшие за волю.
Кто был ничем, кто трудно жил, —
обрел иную долю.

Вперед, свободная Литва,
Дороги нет попятной,

но есть дорога торжества
за далью необъятной.

1940

Мы свободу все равно удержим

Все кончено.
Точка.
Ни гнета, ни бед
в стране нашей больше не будет.
На стягах напишем мы
славу побед,
счастье
работой добудем.

В решающей битве
новых времен
наш друг и товарищ —
крестьянин.
И то, что посеян
наш хлеб

и взращен, —
забота его и деянье.

В свободной Литве,
если глянуть кругом,
господ не осталось в помине.
Мы счастье куем
каждодневным трудом,
о завтрашнем думаем ныне.

Мы смело идем.
Впереди — торжество.
Пусть корчится враг
перед нами, —
недавно
жестокие руки его
срывали
багряное знамя.

Уж если мы вынесли
тюрьмы и гнет, —
свободу
дано отстоять нам.
Советский Союз

к нам на помощь идет,
спасибо народам-собратьям!

Истлеет
и станет
добычей червей
осина,
сраженная бурей.
Огонь, пламеней!
Отчизне моей
лететь
колесницею солнца
в лазури!

1940

Огни

Вы, славные народные ораторы,
и вы, друзья, свободные рабочие,
сорвавшие оковы зла проклятые, —
люблю вас очень!

Люблю, друзья, всем сердцем вас,
как соколов,
что бодрствовали в темный час,
потом
взлетали к небу —
зарю приветствовать.

Я очень вас люблю,
люблю,
страдавших в тюрьмах горестной порою,
героев,
что будут жить в огне труда,
чья воля,
словно сталь, тверда.

Сильней всего
люблю я вас,
не ради славы проливавших кровь,
от пули павших наземь
и зарытых в общий ров.

Вы —
Республики железные опоры.

Вы —
огни в сердцах горячих.
вы —
огни в ночах незрячих.

Товарищи,
погибли вы...
Не видите вы
наших демонстраций,
не слышите вы
яростных оваций,
когда взывают миллионы:
«Грабительский режим сломать пора!
Спасительнице, Красной Армии, ура!..»

Но в этот радостный и ясный час
я чувствую, что вы
присутствуете среди нас.
И ждете вы,
чтобы свободу,
омытую горячей вашей кровью,
мы защитили навсегда,
чтобы трудом,
как яркими цветами,

украшен был отчизны путь,
которым мы уверенно идем.
Погибшие друзья!
Дорогой вашей,
дорогой ваших подвигов живых
сегодня мы уверенно шагаем
и красные знамена подымаем
за славную Республику свободы.
В такие годы,
в такие дни
бороться будем мы, товарищи,
как вы —
недавней ночи яркие огни.

И знаем мы, что волей и трудом
тебя, Литва, мы к счастью приведем.

1940

Победное шествие

Мы дружно шествуем, друзья, вперед к победе,
заводы, фабрики и земли нам даны.

Чем были прежде мы, кем числились на свете?
Мы жили, точно были жизни не нужны.

Мы в тюрьмах, в карцерах прошли все испытанья
и сквозь решетки жадно вглядывались в дали.
Но что врагам мученья наши и страданья?!
Над нашим горем только матери рыдали.

И то, к чему стремились, что искали мы,
что в сердце жаждущем звучало, словно песнь,
теперь у наших ног цветет цветами алыми,
и даль — вблизи, даль рядом, здесь.

Идем мы разрушать и строить. Путь нам ведом,—
его указывает партии рука.
Глазами Ленина мы видим свет победы,
и ленинская воля в нас крепка.

Поток могучих дней бурлить не перестанет,
пусть в нем утонет ночи темнота.
В нас — беспокойства дух. Вперед, вперед нас
манит
тоска по правде, светлая мечта.

Не кончена борьба. Наш недруг все пути
мостил булыжником коварств и тьмы.
Препрады все сумеем мы смести,
и пламя пламенем погасим мы.

1940

Любимой земле

Земля, земля моя!
Любить не перестану
красу твоих полей, лесов.
Как ты волнуешься зеленым океаном,
как золотишься зернами хлебов!

Я обниму тебя
рабочими руками
свободно,
горячо,
как равный друг.
Ни пушками,
ни старыми,

ни новыми врагами
тебя не запугать.
Как все цветет вокруг!..

И подневольная — ты не рыдала,
когда висели тучи над тобой.
Ты к свету вырвалась.
И просияла.
И цепи сбросила —
не хочешь быть рабой.

Познавшей смысл
борьбы, свободы, чести,
тебе открылись дали впереди...
Так громче пой
зарю коммуны песню,
уверенней вперед гляди!..

1940

Сеятелю

Вспаханный простор отчизны
плет свободу,
воздух жизни.
Поле ржи
волной зеленой
зашумело,
забурлило.
Видишь, друг мой,
море хлеба,
чистоту,
прозрачность неба.
Смотришь ты
на это небо,
это небо —
земли наши,
наши пашни.
Видишь, друг мой,
эта птица
издалека
вдаль стремится —
вслед за солнцем,
догоняя

вешний день,
цветенье мая.

Но навстречу — ветры.
Птице
не грозит
с дороги сбиться.
Так и ты,
мой друг:
не смогут
ветры сбить тебя
с дороги.
Погляди —
поля отчизны
пьют свободу,
воздух жизни.
Зеленеющее море
колосящегося хлеба
всколыхнулось,
расшумелось.

1940

Красные обозы

Года гремят, что грозы,
все громче, все смелей.
Красные обозы
везут дары полей.

Цепочкой длинной едут,
на флагах солнца свет.
Зерно — не дармоеду,
не спекулянту — нет!

С дороги прочь, буржун!
В коммуну нам идти.
Крестьянин сердцем чует,
где верные пути.

В мешки ложатся зерна.
Привет полям родным!
С заводами упорно
соревноваться им.

С деревней город будет
работой мир крепить.

Сумеют в песню люди
всю радость перелить.

Течет потоком бурным
родной рабочий люд.
Так дружно люди к урнам
в день выборов идут!

Года гремят, что грозы,
все шибче жизни ход.
Красные обозы —
вперед, вперед, вперед!

1940

Товарищу Янонису

Ты смело шел, Янонис, к правде,
к свету,
наш друг — борец из самых непреклонных.

Сердца скорбят — тебя сегодня нету
в колоннах многомиллионных.

Но вспомнишь о тебе — и станешь сильным,
смелым,
пойдешь вперед, презрев тревоги.
Рабом не будешь робелым,
препятствия сметешь с дороги.

Маяк, тобой зажженный, гордо поднят,
нам путь указывая в дали,

чтоб всюду, где метель мела,— сегодня
сады росли и расцветали.

Когда в тяжелую для жизни пору
устану, от забот тупея,

тогда в тебе я нахожу опору,
не покоряюсь бедственной судьбе я.

Нас много нынче собралось свободно,
твою оплакиваем гибель.

Как было б хорошо, когда б сегодня
с тобой, живым, мы говорить могли бы.

Несколько слов о Винцасе Грабинасе¹

Винцас Грабинас — прокисший
молодчик.

Трудиться ему не с руки,—
шагать впереди поколения хочет,
шаги у него широки.

В конторе кладет он за строчкою
строчку.

Какая в Грабинасе прыть!
Окончил два класса гимназии —
точка,
всезнайкой не трудно прослыть.

Контору запрет он и после работы
по улице важно идет.
В баре сидеть —
нет приятней заботы
среди остальных забот.

¹ От «грабас» (лит.) — гроб.

Он в свой мезонин
возвращался под мухой,
валился, не чувствуя ног.
И слыл он у пьяниц
роднею по духу, —
платить за попойки он мог...

Так жил он и жил,
удовольствий добытчик,
кумир ресторанной родни.
Но вдруг колесо его давних привычек
сломалось о новые дни.

Свалился Сметона со сворою «прочих
подонков литовской земли,
шли с песней веселой
колонны рабочих,
плакаты и флаги несли.

Тюремных дверей грохотали засовы —
на волю, свободы бойцы!
Товарищ! —
летело любимое слово,
и песни — как счастья гонцы.

В корчме горевал
в эту пору Грабинас, —
ему ли быть вместе с толпой?
Распивочно хочет он жить —
не навывнос,
бездушный, чванливый, тупой.

Жаждой наживы пропитан,
как салом,
ходит он, злобой дыша.
Кислым, брюзжащим
вырос он малым,
в Винцасе — рабья душа.

Ржавчина листьев
срывается с веток,
на раздорожье лежит.
Трудно принять ему
правду Советов, —
пленнику злобы и лжи.

Воздух все чище в Литве,
на просторе
каждый душой просветлен.

Мрачен Грабинас:
в господской конторе
нынче хозяин — не он.

Смотрит на красные флаги
и — злится,
видя их пламень живой.
Пусть возвратится хозяин,
и Винчас
первым поздравит его.

Честно со всеми работать
порою
он себе клятву дает.
Но к прошлому так присосался душою.
что трудно прорваться вперед.

Винчас Грабинас, он ждет еще,
будто
дни могут ринуться вспять.
Но пролетает неделя — минутой,
жизнь нашу не удержать.

Рушится рабство —
воочью, на деле.

Голос борьбы — все сильней.
Мир
революция надвое делит:
против нее, кто не с ней.

Силы живые
вздываются кверху,
мертвые — падают ниц.
Люди в работе проходят проверку,
нет их полету границ.

Мрачен Грабинас,
и на сердце скверно:
ждет... но чего же он ждет?
Социализм истрепал его нервы,
боль он ничем не запьет.

Жизнь колосится на нивах зеленых
славной отчизны труда.
Быть вам всегда
на победных знаменах —
молот, и серп, и звезда!

1940

Венок Литве

Мы, как волы,
телегу барскую тащили, жили скудно.
За корку хлеба гнет переносили.
Вот почему одна советская секунда
дороже нам всех долгих лет насилья.

На светлых улицах витрины — хороши.
Зовут людей
Госторг и Госиздат.
Исчезли с глаз монахи, торгоши,
ханжи, поющие
про божий гнев и ад.

На свет из тьмы туманов вековых
к народу вышли
университеты.
В газетах,
на заводах,
в мастерских
слагают песнь рабочие поэты.

В ворота вражьи вбили мы хороший гол,
в хорошем темпе...

Вызов жизни принимая,
идет вперед
с боями
комсомол —
дорога перед ним прямая.

Закона
схваченный уздою,
он недоволен,
спекулянт,
Советами.
«Народной власти укрепляй устои!» —
мы избирателю советуем.

Работайте дружной,
агитбригады, —
слова должны,
как зерна, прорасти.
Еще вчера
в огне дымились баррикады,
теперь
рабочие
смывают грязь с пути.

На всю отчизну, словно знамя, поднят
призыв,— он пламенеет над страной:
«Мы выборами в наш Совет
сегодня
венки сплетем Литве родной».

Пусть коммунизм, как ярких молний свет,
широкую дорогу освещает.
За будущее, за его расцвет
сегодня каждый отвечает.

1940

Восход солнца над Нямунасом

Когда светлеет небо,
золотистый,
извилистый у Нямунаса путь,
и кажется
что он волной балтийской
до океана
может доплеснуть.

Тебя бодрит
вдруг налетевший ветер,
зовет на стройку счастья,
ты встаешь
с восходом солнца,
в золотистом свете
ты смелой мыслью
вольно
вдаль плывешь.

Ты вдаль плывешь
сквозь тучи заревые,
туда, где землю шарит
первый луч.
И видишь ты,
что Нямунас впервые —
так молод, и прекрасен,
и могуч.

Открой глаза,
и подожди минуту,
и силы собери —
увидишь дым,
туман белесый

ввысь взовьется круто
и наземь хлынет
ливнем золотым.

Любовь твоя,
разлившись на просторе,
найдет с рассветом
новые пути
и Нямунасом,
и Балтийским морем
все океаны
сможет обойти.

1941

Ленин у

Иные гении
приходят и уходят,
но гений Ленина —
на все века.
Кто сердцем тянется
к борьбе,
к свободе,

в том верность Ленину
всегда крепка.

Дорогу к правде
указал нам Ленин,
он завещал нам
честный мир труда.
Как верность Ленину,
навек неизменен
обет —
бороться
и творить
всегда.

Наш путь полюбится
другим народам.
И там, где Лениным
рассеян мрак, —
над светлым миром
правды и свободы
коммунистический
взовьется стяг.

1941

Дайна о Ленине

Не ива качается,
грустная ива,
не сосны скрипучие
гнутся вдали,
то мир отмирающий
стонет тоскливо...
А новый наш мир —
это утро земли.

В лицо нам
горячие ветры
дышали,
наш дух закалили
все беды земли.
Буржуи
сердца наши
опустошали,
но розы надежды
в сердцах расцвели.

Сердца наши с песнею
в ритме едины,

а песня — маяк
нашей гордой борьбы.
Сильны, и упорны,
и непобедимы,
мы настежь откроем
ворота судьбы.

Борьбу баррикадную
песня венчала,
песня встречала
революции гром
в дни,
когда Ленин
под знаменем алым
поднял рабочих
на битву с врагом.

Великого Ленина
сердце безмолвно,
Ленин в песне —
вечно живет.
Волей его
вдохновенно,
любовно

дело его
продолжает народ.

Пою я
о ленинской силе чудесной,
о жизни, расцветшей
в краю родном.
Как розы,
 кладу я
на гроб
 эту песню —
сердце мира
 покоится в нем.

1941

Песня революции

Запомнились злодеяства Мак-Магона,
дверь революции закрыл убийца старый,
он залил кровью алые знамена,
что подняли в Париже коммунары.

На Пер-Лашез они погибли рано
за будущий Интернационал.
Но годы шли,
и падали тираны,
короны с королей народ срывал.

Мечты расстрелянных,
из-под земли вставая,
дух беспокойства
сеяли в умах.

Росла волна
живая, огневая,
и вот Октябрь
в бессмертных встал боях.

Волна к волне,
волн этих — миллионы,
прорвавшись в мир, смывают все
барьеры.

С дороги прочь, убийцы мак-магоны!
С пути долой, тираны тьеры!

Не удержать вам этих волн могучих,
не побороть вам

бури этой грозной!
Вы слышите
раскаты грома в тучах?
Вас ливнем смоем
рано или поздно!

1941

КП (б) Л

Дорогу тяжелую
выбрав свободно,
преследуема врагами,
ты знамя свое
пронесла благородно,
кровью народной омытое знамя.
Сквозь тюрем решетки
огненным взглядом
обозревали судьбу народа.
Из тюрем,
из карцеров,
из казематов

призывы
 рвались
 на свободу.
И вот —
 ты встречаешь
 радость большую:
Армии Красной
 да славится имя!
Она помогла тебе
 сбросить буржуев
с престолов,
 насиженных ими.
Ты из подполья вышла.
 Огромны
и воля твоя
 и заботы.
Идеи,
 что вызрели в камерах темных,
ты в жизнь
воплощаешь работой...
Железо ждет,
 в огне накалившее,
молота,
 крепко кующего.

Ты куешь,
 всегда непреклонная,
наше
 счастье
 грядущее.
К счастью придем,
 коммунизм — его имя.
Размах работы —
 огромен.
Руками своими
мир обнимем, —
пусть нашим пылает
 огнем он!

1941

Лучшие из лучших

Нам песни петь о радости народной.
Нет больше темных туч в родном краю.
Все наши избиратели свободно
сегодня волю выскажут свою.

Жизнь никогда так ярко не сверкала.
Мы дети века — он, и ты, и я.
Не зря земля в себя ту кровь впитала,
что пролили погибшие друзья.

Нет! Покорить нужда нас не сумела.
Гляди — свободы поступь широка.
Руль коммунизма держит сильно, смело
компартии могучая рука.

В историю мы вписываем даты
своей борьбою и своим трудом.
Вот лучшие из лучших — кандидаты,
которых мы сегодня изберем.

Служить великой цели — их забота,
пусть нашу жизнь украсят их труды
Да будут же избранники народа
в делах и справедливы и тверды!

1941

Первое мая

Все умирает, уходит бесследно,
звезды — померкнули и те.
Нет, не забуду я тех, кто победно
к свету шагнул в темноте.

Жизнь клокотала, и жили мы, зная:
козни да тьма на пути.
Долго встречали мы Первое мая
в тюрьмах, в цепях, взаперти!

Помню я наши тюремные ночи,
кажется, слышу сейчас
голос протеста во тьме одиночек, —
пламень, который не гас.

Двери мне слышится скрежет суровый,
лязг и бряцанье ключей,
и «замолчать!» — беспощадное слово
в страшных устах палачей.

Рыскала стража, в решетки стреляя,
целилась каждому в грудь,
будто бы паводок — Первое мая
может весь мир захлестнуть.

«В наших стреляют!» — тюремные своды
стали еще тяжелей.

Эхо катилось по крышам заводов
в дали пустынных полей.

Крик возмущенья — решительный, ярый,
искрами в души влетал.

Жаркий — дышал он, как пламя пожара,
смело на подвиги звал.

Дали вечерние быстро темнели,
ветра притих перезвон.
Павший товарищ лежал на панели,
кровью своей обогрен.

Видел ли кто, как глаза его гасли,
краски сходили с лица?
Из пиджака его выкраден паспорт
ловкой рукой подлеца.

Кто-то, отчизной клянясь громогласно, —
раб этой тьмы вековой,
думал, что кровь пролита понапрасну, —
счистил ее с мостовой.

Солнце же кровь ту по капле вбирает,
сыплет лучами везде.
Правда погибшего не умирает,
жить продолжает в труде.

Ярким пылает светильником жизни
объединяет народ.
Так революция нашей отчизне
мир и свободу несет.

Те, что извели тюрьмы глухие,
карцер и каторжный труд,
те, что в подполье скрывались,— живые
вместе с живыми идут.

Встали мы, цепи насилья ломая.
Выше знамена, вперед!
Ныне мы празднуем Первое мая,
освобожденный народ.

Труд наш — коммуне венок многоцветный,
Труд защищать нам дано!
Любям рабочим подвластна планета
с ширью небес заодно.

Май наш с ветрами дорогой огромной
к дальним летит берегам.
Тот, кто посеет резню и погромы, —
грозный пожнет ураган.

1941

Красная Армия

Над Вильнюсом, Каунасом —
всюду в дни обновления
высь озарялась вспышками алыми,
когда встречали мы армию Ленина,
Красную Армию...

Орудья и танки, что здесь проходили,
мы украшали цветами.
Молот и серп над Литвою скрестили —
пусть вечно сверкают над нами.

Волнами пшеницы
жизнь проплывает свободно,
пятиконечная

ярко
пылает звезда.
Так в великую битву вступает народ за
народом,
так любовь
человечество объединит навсегда

Гремит над землей.
будто колокол гулкий, громадный.
Красной Армии слава —
громче, прочнее металла.
Хотя и палили по ней враги беспощадно,
она историю ярым огнем писала.

С боями прошла
сквозь огонь и траншеи,
сквозь мрак блокадный
сквозь голод и горе,
грязь смывала
кровью своею,
чтоб ярче цвели
революции зори

1941

Слова от всего сердца

Все, что на сердце —
сказать словами надо
о человеке,
 об его правах.

Огромный мир
 охватываем взглядом,
глухие бездны,
 звезды в небесах.

Взрывной волны
 нас обдувает ветром,
глотают бездны
 хищников морей,
коммуны звезды — в небе светлом
родной Республики моей.

Мы эти звезды
 по одной
 собрали с вами,
и нежность
 закалили мы в бою.

Уж лучше нам
железо грызть
зубами,
чем предавать
любовь свою.
Вместило сердце
всех народов братство,
кровь в наших жилах —
горячей весны.

Не описать
и в сотнях книг
богатства
и силы чувств
людей моей страны.

Врагов мы видим,
но у нас немало
товарищей, испытанных в боях.
Над миром
звание коммуниста
засияло,
оно горит
в людских сердцах.

Кровь горяча.

Нам всем покой неведом.

Не до печали

нам

сейчас.

Кто счастье брал трудом,

кто шел к победам,

тому и хорошо у нас.

Кто нынче поднимает

братства знамя

над бомбами,

над кознями лжеца,

тот верен партии,

тот — вместе с нами

на страже счастья

до конца.

Но если

в нашу сторону орудья

направят полчища врага, —

мы встанем все —

земли советской люди, —

сожмет
оружие
рука!

1941

Выстрел стихом

Автомобиль ползет
в гараж.
Он стар, он истаскался.
Вот так и ты,
буржуй, —
пришел твой трудный час.
Давал ты сдачу
покупателям
из кассы,
но деньги,
не твои сейчас.

Стиха значение —
выстрелу подобно:
он пульей правды
будет для тебя.

Сердца людей
растаптывал ты злобно,
их, как цветы,
калеча и губя.

Теперь,
когда победа прогремела,
для всех, кто жив,
настало торжество —
от нашей жизни
ты бежишь, как очумелый,
о прошлом ты жалеешь...
Отчего?

Вернуться к старому
хотел бы ты...
Советы —
твоя гибель,
крах твоей мечты.
Прихлопнули твой бизнес
в час рассвета,
который
с ненавистью
встретил ты.

Наживы сети
расставлял ты ночью.
А вот

в лучах зари —
ничтожен ты
и слаб.

Довольно ездить
на спине рабсчей!
Тебя обуздывает
твой вчерашний раб.

Нет, никогда тебе
не властвовать на свете!
Нам

в коммунизм шагать
из года в год.

Идеи Ленина
с такою силой светят,
как фары поезда,
летающего
вперед.

1941

Когда приходит весна ...

Знает Республика ценность большую
зерен, что в землю легли.
Зерна без пашни томятся, тоскуя,
скучно зерну без земли.

Так вот и парень,
сколоченный прочно,
ждет не дождется любви.
Если любовь
не нашла себе почвы —
горечь блуждает в крови.

Мы о посеве
почтительно скажем:
зерна с любовью — одно.
Землю не бомбой —
плугами мы пашем,
сеем не пули —
зерно.

Ранней порою,
весенним рассветом

солнце на землю придет,
встанет над пашней родною
с приветом
синих и ясных высот.
Солнцем нагретая нива,
как море,
плещет
зеленой волной.

Хлеб всколосится на вольном просторе,
встанет
высокой стеной.

С солнцем, земля, тебя,
с песней счастливой,
с новым приходом весны!
Хлеб всколосится, созреет на нивах,
хлеб Советской страны.

1941

От бога отлученный настоятель

(Отрывок из незавершенной поэмы)

Окраина. Костел. Поля сырые.
Ни бога здесь и ни святой Марии.
Бревенчатый подслеповатый домик
стоит,— таких же домиков потомок.
Одно его окно в кровоподтеках,
распятое в мучениях жестоких.
Корявые нетесанные двери
не вызовут у путника доверья.
Не двери — гроб, витающий над бездной.
На нем висит большой замок железный.
Те двери сведены тугим засовом,
что непреклонен в правиле суровом —
хранить закон. За этой дверью строгой
ксендз никогда бы не увидел бога,
когда б на этих деревянных нарах
лежать пришлось средь молодых и старых,
а вместо вин хлестать пришлось бы воду
нечистую, какой не пил он сроду,
когда бы вместо индюка с приправой
ему бы дали хлебный кус корявый.

Да, то, что хлевом для ксендза служило,
для батрака его жилищем было,
сарайчиком, набитым душной влагой,
где спят и укрываются сермягой.
Батрак здесь получил права ночлега.
Сермяги даже нет у человека.
Сюда полиция его впихнула.
Замок куда надежней караула.
Стоял он, шапку сдвинув на затылок,
так у решетки в шапке и застыл он.
И сквозь решетку видел четко поле
и все, что оставалось там, на воле.
Там поле, освещенное луною,
как днем сияло, изжелта-льняное.
Дорога мглистая, что вдаль бежала,
к реке влеклась, к разводам краснотала.
Луну в прохладе медленно купая,
река струилась, пашни огибая,
и уходила... Белые хибары
при лунном свете плыли, словно пары
гусей по зыблемой озерной глади,
на небеса с глухой опаской глядя,—
не ястреб ли готовит им расправу —
гусям, которым мирный день по нраву.

И только дом господский вместе с садом
вставал, как холм, легко открытый взглядам,
а чуть поодаль белочкою зоркой
стоял костел на невысоком взгорке.
В костеле том — подумывали люди —
всевидящий царил, он знал, что будет
в грядущем, и всегда судил он строго
того, кто вдруг ослушается бога.
Приходят люди, встанут на колени,
и неисповедимы их моления,
и их мольба — грехи простить им, грешным.
Счет тем грехам — печальным и потешным —
ведутся чертом. Люди в том костеле
надежды черпают, а ксендз все боле,
орудуя святыми словесами,
удачливо торгует небесами,
хотя Христос подобных из костела
прочь выгонял... Ксендз своего престола
не оставлял. Он ждал посильной дани,
для коей простирали большие длани...
Тут мой батрак в тяжелом заточенье
припомнил, как давным-давно в смиренье
говаривала мать: погибнешь, милый,
когда со всей своей душевной силой

не будешь верить в господа; господних
слуг поругаешь — будешь в преисподней.
Он поругал. За это поруганье
тяжелое несет он наказание.
Его судьба — он понимает это —
уткнулась в стену старого запрета.
Уж коли правду ты познал однажды,
тебе не избежать высокой жажды
жить для нее, судьба твоя известна.
И матери взывают повсеместно:
о, сыновья, священника устами
глаголет дух, и вещими перстами
благословляет; если ж ты без веры —
в аду мученья примешь ты без меры
и, умерев, познаешь муки ада.
И если ты помолишься, как надо,
то божий лик увидишь в поднебесье,
и будет это чувствоваться в песне,—
в твоей молитве, люди от испуга
готовы отвернуться друг от друга.
Ксендзу не скажут, что он грешен боле,
чем те, кого ругает поневоле.
Здесь так едины бог и настоятель,
что прихожане — кстати и некстати —

не могут различить их... До прозренья
батрак произносил свои моленья,
и перед алтарем он клал поклоны,
и оглашал души болящей стоны.
Но только начал у ксендза батрачить,
он норов свой сумел переиначить,
была его покорность позабыта.
Ксендз божество представил в виде лита,
и он в костеле говорил, бледнея,
что слон в ушко иглы пройдет скорее,
чем попадет богатый в рай господень,
а думал так (на людях благороден):
потуже бы набить мощну монетой,
а нищие,— подальше бы от этой
гурьбы голодных... Он пирует в праздник,
ломится стол от яств разнообразных,
он ставит вина иностранных марок,
и тут же — бочка пива. Как же ярок
бывает стол: приезжие коллеги
всю ночь скрипят, как ржавые телеги.
Ты наделен каким-то чувством вещим —
назвать ксендза гнетущим и зловещим,
без угрызенья совести берущим
дань у того, кто признан неимущим.

...Батрак, он смотрит в высоту угрюмо,
и тяжкая его тревожит дума,
как будто просит помощи у бога,
и нестерпимо жжет его тревога.
А белая луна в дали свободной
ему казалась нервной и холодной.
Он долго вспоминал свои злосчастья,
он взгляд отвел, он не искал участия —
тем более у неба, только руки
ему помогут, только друг о друге
забота, только этот красный пламень
полотнища, и только это знамя,
которое он поднял на рассвете,
и только люди, только люди эти,
с которыми он вышел рядом, вместе,
и только это гордое возмездье,
и только эта вера в то, что вскоре
разбито, смято будет в мире горе.

Содержание

<i>Лев Озеров. Витаутас Монтвила, его жизнь и поэзия</i>	3
--	----------

СТИХОТВОРЕНИЯ

Путь-дорога	52
Пой!	53
Будем бороться!	54
«Итак, потомки исполинов...»	54
«Опять меня зовет свобода в дали...»	55
Воскресенье	56
Сестра!	56
Молодость	57
«Приди, тебе отдам я мир...»	58
Путник	59
Порыв	60
Прометей	61

Пробуждающаяся свобода	62
Тоска по солнцу	64
Майский праздник	65
Сын	67
Перед рассветом	68
Проходят поезда	70
Разлив Нямунаса	71
Волны Шешупе	72
Средневековые оркестры	73
Вернулся	78
Неслыханный звук	79
Погибшему товарищу	80
В окно	81
Воспоминание	82
В стране родной	83
Весне	85
Ветры	86
Новые флаги	87
Житы!	88
В тюрьме	89
Присяга рабочего	90
Без тысяч	91
Смерть на кресте	93
Сотни весен	98
Возлюбленной	100
Стоит жить!	101
Лошади судьбы	102
Поэма о мостильщике	103
«Уже рабочих наших кровь...»	106
Грусть луны	108

На широкую землю	109
За лесами и горами	111
На бирже труда	113
Полевая лилия и дитя улицы	116
Кузьма-безбожник	118
Последние слова	120
На жемайтйской земле	122
«Когда подсолнух в предместье...»	128
«Вставай и, словно бы ничтожнейшую малость...»	129
«Не люблю никому жаловаться...»	130
Флаг	132
Я прошел по Литве...	133
Ничто не вечно...	136
«В небе черные тучи плыли...»	139
«Я, поэт бедноты...»	140
Пробуждение весны	142
Подайте на пропитанье	144
Винцас Дарулис (Отрывок)	149
Любимейшая страна	150
Приди!	152
Ночь	153
Сон	154
Моя отчизна	155
Не виновен я...	156
Был бы я...	158
Письмо	159
Этому не бывать!	160
Продавщица в магазине Пинигене	161
Ты	163

Богом покинутая овечка	164
Литве	166
Сообща добудем свободу	167
Песнь снежинок	169
Все равно придет весна	170
Товарищу по борьбе	172
Подарок	173
Еще не все сломали мы преграды . . .	174
Свободному ветру	175
Звезда полуночи	176
Свет с неба	177
Мои слова	178
У могилы друзей	179
Свободная песнь	180
Мы свободу все равно удержим	181
Огни	183
Победное шествие	186
Любимой земле	188
Сеятелю	190
Красные обозы	192
Товарищу Янонису	193
Несколько слов о Винцасе Грабинасе . .	196
Венок Литве	201
Восход солнца над Нямунасом	203
Ленину	205
Дайна о Ленине	207
Песня революции	209
КП(б)Л	211
Лучшие из лучших	213
Первое мая	215

Красная Армия	218
Слова от всего сердца	220
Выстрел стихом	223
Когда приходит весна...	226
* От бога отлученный настоятель (<i>Отрывок из незавершенной поэмы</i>)	228

Монтвила Витаутас.

М77 Ночи без ночлега: Стихотворения. / Пер. с лит., вступит. статья. Л. Озерова.— М.: Худож. лит., 1982 — 238 с.

Витаутас Монтвила (1902—1941) — один из зачинателей литовской советской поэзии, расстрелянный фашистами в июле 1941 года. Его произведения (лирические и сатирические) выражают думы и чаяния простых тружеников Литвы, исполнены глубокой к ним любви.

Издание приурочено к 80-летию со дня рождения поэта.

М $\frac{4702360200-030}{028(01)-82}$ 91-82

С(Лит)2

Витаутас Монтвила

НОЧИ БЕЗ НОЧЛЕГА

Перевод с литовского

Редактор *Е. Борисова*

Художественный редактор

С. Данилов

Технический редактор

Л. Вецкувене

Корректор *Д. Эткина*


ИБ № 2334

Сдано в набор 15.04.81. Подписано к печати 15.03.82. Формат 84×108/32. Бумага типограф. № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 6,3+1 вкл.=6,33. Усл. кр.-отт. 6,33. Усл. изд. л. 6,5+1 вкл. 6,54. Тираж 25 000 экз. Изд. № IV-441. Заказ 1-170. Цена 65 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Харьковская книжная фабрика «Коммунист». 310012, Харьков-12, Энгельса, 11.

ВИТАУТАС МОНТВИЛА

ДВОЧИ
БЕЗ НОЧЛЕГА



65KOH.

Созданием файла в формате DjVu
занимался ewgeni23
(февраль 2013)